

Счастье потерянной жизни

» Биографии и Свидетельства, Николай Храпов



Автобиографический роман «Счастье потерянной жизни» Николая Храпова (1914-1982) – бесспорно ярчайшая страница истории евангельского движения в бывшем Советском Союзе.

Судьба его автора представляет собой беспрецедентный случай, поскольку фактически за написание этой книги шестидесяти шестилетнего старика осуждают на три года тюремного заключения. За два месяца до окончания этого уже пятого по счету срока он «освобождается», уже навсегда. Ничто не сломило этого героя веры в его уповании на Бога: ни трудности жизни, ни прелесть соблазнов, ни угрозы системы. Он был и остался победителем!

С потрясающей глубиной описанный жизненный путь борца за величие человеческого духа, заключившего с Богом союз и до смерти защищавшего это право верить в Него и жить по Его заповедям – вот то, что увидит читатель на страницах этой книги.

Оглавление книги:

- Скорби двадцать девятого...
- Страдания Петра Владыкина
- Защитник истины
- По этапу
- Поведу тебя вперед
- Последние дни Петра Никитовича Владыкина

Скорби двадцать девятого...

Вот он и пришел, в грозном молчании, этот 29-й год. Перестали звонить колокола. Одна за другой стали закрываться хлебные лавки. Бурей пронеслась тревожная весть о карточках.[1]

Молитвенный дом пока не трогали. Но уже летели о куполов кресты, с жалобным стоном разбивались и колокола, в открытую злорадствовали атеисты:

- Правильно! Так им и надо! Добрались до длинногривых! Давно пора!

Мигом изменился облик богомольного городка. Монастыри опустошились, в них размещались склады, гаражи, в церквях клубы. Предметы культа отбирали, навалом грузили на телеги, свозили на станцию. Опустел базар, рядом зашевелилась смрадная толкучка. Жуть!

В тот же год маленькая Вера "сошла с рук", заковыляла своими ножками. Петр Никитович Владыкин, по мелочам, заготовил к зиме необходимое: топливо, кое-что из харчей, запаса керосином. Задумывал пройтись по дальним общинам с благовестием Евангелия, подбирая спутника. Петр Никитович вернулся из миссионерской поездки со скорбными вестями: множество мелких общин власти позакрывали, на баптистов начались гонения.

Вдруг и на него не выдали карточки. Выяснилось, что как проповедник баптистской церкви, он лишен избирательных прав, - отсюда и вывод. Пришлось удвоить силы в починке обуви.

Приступала пора испытаний для молодой души Павлика. Уже не были в радость собрания верующих - братья и сестры сидели подавленные, спевки прекратились, при служении хористы отдавали предпочтение гимнам печальным. Еще один брат отпал от тела церкви: прельстясь мирскими посулами, вступил в партию - ему тут же дали место заведующего хлебным магазином. В ближайшей от нынешней квартиры Владыкиных церкви устроили камеру предварительного

следствия и заключения. Павлик ходил смотреть: на паперти, перед закрытыми дверьми дома, стояла угрюмая тетка, с ружьем. Изнутри доносились плач и стон, арестованные цеплялись за оконные решетки, пытались выглянуть, просили воды и хлеба.

- Тетенька, кто там? - спросил Павлик.

Та лишь отмахнулась.

- Я принесу им хлеба, - добавил он, позабыв, что у самого лишь ломтик.

- А ну, пошел отсюда! - грубо крикнула стражница. - Тут сидят враги народа, а ты - "хлеба да воды". Убирайся!

- Но там же дети! - изумился Павлик.

- ... И дети врагов народа! - дерзко ответила и взялась за ремень винтовки тетка, с явным намерением пустить ее в ход. - Сказано - пошел! А то и сам загремишь туда же!

Павлик попятился от страшной тетки, но решил с другой стороны заглянуть. Тут окна оказались ниже. Одно было разбито. Павлик оглянулся. На противоположной стороне улицы за ним наблюдала целая толпа людей. Каждый держал в руке узелочек. Павлик догадался, что это - родственники арестованных.

- Ну, что же вы? Давайте поскорее! - крикнул он. Первым подбежал пожилой мужчина.

- Подсадите меня!

Тот поставил спину. Павлик проворно вскарабкался на нее, протянул руку. Ему сунули один узелок. Он тут же перебросил его в окно - внутри началось движение. Толпа арестованных отхлынула от двери к окну. За первым узелком полетел второй...

- Тетка идет! - крикнул чей-то голос. Павлик спрыгнул, кинулся прочь. Они едва успели добежать до кустов.

- За что их?

- Не спрашивай, сынок! Потом узнаешь. Беда, беда пришла на наши головы! Господи, что же это будет дальше?!

Через день забрали отца. Гепеушники приехали в ранний час. Петр Никитович даже не успел попрощаться - Луша была в городе, Павлик гулял с Верой. Оставил записку. Ее заметил молодой конвойный, прочел, усмехнулся:

- И тут Господа вспоминаешь! Ну-ну, жди, поможет он тебе. Пошли!

К ночи, однако, выпустили. Не находившие себе весь день места Луша и Павлик кинулись к Петру Никитовичу.

- Ну, что там, рассказывай.

Отказавшись от еды и налив себе только чаю, он рассказал:

- Привели, посадили за стол. Вошел какой-то начальник, весь в коже. Положил наган на стол, и начал вежливо. Порасспросил: откуда я и где уверовал, да как; семьей интересовался. Потом за церковь. Тут я уперся: "Нет, говорю, начальник, про церковь мы с тобой разговаривать не станем!" Тот аж взвился: "Почему?" Потому, отвечаю, что ты - не архиерей, а я - не протодьякон, нечего мне исповедываться перед тобой в церковных делах. Думал - рассердится, ан нет - заулыбался: "Молодец, говорит, ты, Петро Никитович, сразу видно - честный человек. Вот и будем разговаривать с тобою откровенно". Я ему: "Христиане и должны быть честными, начальник, как же иначе". Он: "Ну да, ну да. Тут вот какое дело к тебе, Петр Никитович, - сам разумеешь, какое сейчас у нас время..." "А какое-такое - переспрашиваю". Он опять вскочил: "Да ты что, с печки свалился? Не знаешь, что кругом полным-полно шпионов? Что они во все дырки лезут? Вдруг и к вам в общину такой шпион проберется, а?" - Я: "сохрани, Господь, Иуда никому не нужен ни вам, ни нам." "Вот я и вижу, что ты правильно все понимаешь. Давай с тобой договоримся: как только кто из приезжих появится - ты мне сразу сигнальчик. Ну, идет?" "Как не идти, когда такое страшное дело - шпи-и-о-н! Но что ему делать в нашей-то церкви?! Начальник уж и бумагу достал, написал что-то и сует мне, подпиши, мол. А чего подписывать? Он хвостом завилял: "Да, так, мол, ничего особенного, о чем договорились..." А раз ничего особенного, так что ж мне и подписывать - договоримся и так. "Да, ты не бойся!" -А я и не боюсь. То, вроде, доверяли друг дружке, а тут

вдруг и доверие кончилось. Нет, начальник, коль доверять, так на словах, ты ж сам увидел во мне честного человека. Возьми свою ручку!" Тот аж побледнел: "Вот ты какой! А прикидываешься простачком!" - "Я и есть простой, сроду в твоей коже не ходил." Ну, походил он пока по кабинету, снова сел: "Ладно, говорит, дай мне слово, что о нашем разговоре ты никому не скажешь!" - "Вот еще чего! Как же я могу утаить от церкви такое? Да, я верю, что вся община сейчас молится за мое возвращение. Нет, не могу скрыть от братьев и сестер такую правду!"... Как он вскочит, ка-ак тряхнет кулаком по столу. "Господи", - думаю, - "конец мне пришел". - Он кричит: "Что ты мне голову дуришь? Забыл куда пришел и с кем разговариваешь? Кто ты и кто я?" - "Да, нет, начальник", - спокойно отвечаю ему - "не забыл и знаю, кто ты. Но и ты знаешь, что я - христианин, служитель Божий!" Видит, нечем ему взять меня сжалился: "Иди домой, а в следующий раз - сам придешь. И помни, на что ты согласился... как честный человек!"

Павлик заерзал на месте.

- Выходит, папка, ты теперь о шпионах доносить будешь?

Петр Никитович только усмехнулся, потрепал Павлушкины вихры:

- Ну, то еще дожить надо! Господь знает.

Донеслась весть о прекращении выпуска журнала "Баптист". Запретили пожертвования на строительство московского молитвенного дома. В столице распустили библейские курсы. Это, как говорится, скорби далекие.

Подкрались и близкие скорби: общине предложили подыскать иное место для собраний. В исполкоме изъяли церковную печать, на которой четко было выгравировано: "Один Господь, одна вера, одно крещение". Одновременно запретили миссионерскую деятельность. Братья лишились возможности открыто проповедовать Евангелие, петь при крещении, во время похорон и шествий.

Словом, лукавый искушитель рода человеческого сладострастно потирал руки, предвкушая скорую и окончательную победу.

Но так ли уж были забыты дети Христовы в опускающейся тьме беззакония? Отступился ли от них Господь? С такими вопросами Павлик подступил к отцу. Тот, ни слова не говоря, снял с полки Библию.

- Читай "Малахию", а потом побеседуем.

Павлик знаком был с Библией лет с двенадцати - начал читать ее по просьбе малограмотного отца, потом пристрастился и одолел ее всю. Книга пророка Малахии - небольшая. Вот уже и последние главы:

- Ибо придет день пылающий, как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей.

А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и выйдете вы и взыграете, как тельцы упитанные.

И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я сделаю, как говорит Господь Саваоф" (Мал. 4:1-3).

Ответа на свой вопрос Павлик уже не потребовал. Он задумался. Какова же мудрость этой книги, если в ней найти поддержку в любые моменты жизни можно!

Павлик поцеловал Библию.

- Прочитал? - отец присел рядом.

- Да. Я не нуждаюсь в ответе, - тихо сказал он.

- Я рад, что слово Божие дошло до твоего сердца. Теперь начинай читать Библию сначала. Ты откроешь для себя новые истины. Пока есть возможности и время - читай. Придут в твоей жизни и такие дни, когда пожелаешь прочесть хотя бы страничку, но Бог устранил эту возможность. Без нее же тебе жить нельзя, Не все время рядом с тобою будут находиться отец с матерью. Чужие люди окружают тебя, злые, негодные, тебе придется самому решать вопросы жизни и смерти, спасения и гибели. Никто не даст тебе лучшего совета, нежели эта книга. С нею ты не заблудишься в

дремучем лесу человеческих пороков и грехов. Знай же, что лучшими твоими советчиками станут мудрость Соломона, верность Моисея, чистота Иосифа [2], самоотверженность Павла и само слово Христа. Библия научит тебя любить и страдать, бороться и побеждать - из этого состоит жизнь. Читай ее так, чтобы она стала для тебя не только умственной, но и душевной наградой. Читай ее для себя и для других.

Господи, кто же знал в те минуты, что отцовские наставления окажутся последними?

В ту ночь пришли за душою Петра Никитовича. Услышали шум подъехавшего автомобиля, Луша бросила тревожный взгляд на двери. Стукнула щеколда, и вошли трое.

- Вот я и пришел за тобою, - с порога объявил начальник, смачно похрустывая своим кожаным пальто. - Соберись!

- Уж кого-кого - тебя я ждал с минуты на минуту, - криво улыбнувшись, стараясь не выдать охватившего его волнения, сказал Петр Никитович. Луша хотела было прикрыть входные двери, но конвойный ей преградил путь.

- Нельзя! А ты, - кивнул он Павлику, - живо на печь. Нечего тебе тут глазеть! Павлик встал за спиною отца.

- Я тут дома, нечего мне на печи делать, - ответил он.

- Ну-ну, - примирительно пробурчал начальник и вынул папиросу. Приступайте! - скомандовал он солдатам, а сам достал и положил на стол бумажку.

- Вот ордер на обыск. Ты соберись, а я покурю.

- Наш дом христианский, тут не курят. И сына нечего заталкивать на печь - он взрослый, ему - 16. Пускай смотрит на все и запоминает.

Начальник повертел папиросу в руках, не решаясь чиркнуть спичкой.

- Да, да, - настойчиво повторил Петр Никитович. Пока в этом доме я хозяин. К тому же тут жена с детьми, - так что не курите!

Начальник зло смял папироску, просыпав табак на пол.

- Что стоите? - рявкнул он на подчиненных. - Ищите!

Неясно, что искали в доме баптистского проповедника, но искали со всем тщанием. Простучали потолки и стены - посыпалась труха с матрицы. Петр Никитович чуть заметно усмехнулся - знали бы гепеушники, какое гнилье приходилось ему латать с братьями. Перетрясли постели, заглянули во все углы. На стол складывали то, что подлежало конфискации: журналы "Баптист", сборники духовных песен, Евангелие. Особое место заняла внушительных размеров Библия, та самая, что недавно находилась в руках Павлика, - у него екнуло сердце. Он перевел на начальника взгляд, поражаясь тому, что лицо начальника и то угрюмое лицо стражницы, охранявшей паперть и заключенных в церкви, как две капли воды были похожи. "Зачем это? Ну, зачем?" - птицей билась в голове мысль о несправедливости, наглости власть имущих, их безнаказанности. "Откуда пришли эти люди? Да, люди ли они?"

Луша баюкала маленькую Веру. Девчушка ничего не понимала, а только улыбалась, глядя на отца с матерью.

- За что его? - шепотом спросил мальчик у матери. Луша всхлипнула:

- Потом поймешь!

Обыск шел всю ночь. Давно уже мирно посапывала Верочка на печи, за занавеской; клевал носом и Павлик; хмуро подпирал ладонью щеку Петр Никитович. Гепеушники казались неуютными. Наконец, начальник встал, сладостно потянулся, как после долгой, полезной работы, отодвинул занавеску; с улицы вползли предрассветные тени, шмякнул фуражкой об стол:

- Кончено. Одевайся, поедешь с нами!

Луша зашлась в крике. Начальник брезгливо отодвинул ее носком сапога, оттолкнул Павлика, грубо, резко развернул Петра Никитовича лицом к двери. Через плечо тот сказал:

- Не плачь, жена моя! Нам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Него.

- Иди, иди, страдалец! - пнул его в спину молодой солдат.

Наступило время тьмы.

Павлик утешал, как мог:

- Мамань, не бейся так - что-нибудь придумаем. Вот я найду работу. Ты же не виновата, а Бог нас не оставит.

И точно: стали захаживать братья да сестры к ним - кто хлебушка принесет, кто молочка с картошкой, а кто и денежку пожертвует. Свыклись.

Надо было и о Петре Никитовиче подумать - каково ему там, в узак! Луша помыкалась по милициям, да по приемным, Павлик обошел церкви, превращенные после закрытия в следственные изоляторы. Ответ повсюду был один и тот же: "сведений не имеем". Как так? Человек - не иголка! Забрали, а куда повезли? Где поместили? В чем обвиняют? Ну, как же это так сведений не имеем. Явно, обман. Надо было искать и искать дальше.

Тут Бог послал встречу с лавочником. Его арестовывали однажды, но почему-то отпустили, и он, с большой опаской, подсказал:

- Дом без окон видишь? Иди туда - там комендатура ГПУ. Сбоку у них приемная, камеры на ту сторону выходят.

Чем делились верующие с семьей Владыкина, тем, в свою очередь, решили поделиться и с Петром Никитовичем. Состряпали передачу, пошли.

В коридорчике уже томились десятка два таких, как Луша. Павлик остался в дверях, Луша подошла к дежурному. Тот рявкнул, не поднимая головы, что ничего не знает, тут никого нет, передачи не принимают, Ну, чуть ли не "вон" сказал. Павлик слышал все. Молча отобрал узелок у матери, глазами - к выходу - подожди, мол, там. Луша в слезах вышла. Павлик смело шагнул к дежурному.

- Дяденька, тут у меня...

Только начал, видит, дежурный вскочил, вытянул шею, ест кого-то глазами. Обернулся - важный начальник входит. Павлик - сразу к нему.

- Вы забрали моего папку, он сидит без еды, я хочу его видеть - вот передача, - одним духом выпалил Павлик. Начальник нахмурился: такого настырного тут еще не видали. Дежурный выскочил из-за стола:

- Ах, ты - негодник, арестантское семя! Я тебя!

Павлик не дал ему исполнить свои угрозы: проворно шмыгнул в сторону, оттуда - за стол, а там укрытие нашлось. Дежурный остался с носом. Начальник только поморщился от такой кутерьмы - поднял вверх руку, запрещая дежурному гоняться за парнем, спросил:

- А ты чей такой будешь?

- Владыкин я. Тут папка мой сидит.

- Ах, вот оно что - баптистский сыночек. Попа этого я знаю.

- Он не поп! - горячо возразил Павлик, - а проповедник Евангелия. Он ничего для власти худого не делал. Зачем посадили?

Начальник впервые усмехнулся:

- А, хорош защитничек! Не боишься, что и тебя привлеку?!

- Не боюсь. Я тоже буду проповедником. Если бы вы знали, какое это счастье!..

Начальник не пожелал узнать, что это такое - служить Богу проповедником. Вполголоса распорядился, чтобы арестованному передали еду. И еще раз с кривой усмешкой оглядев Павлика, скрылся во внутренних переходах комендатуры. Время Павлик коротал под уничтожающими взглядами дежурного. Через пять минут высунул голову солдат:

- Который Владыкин? Ты, что ль? Вот тебе записка от отца. Больше сюда не приходи - его в тюрьму переводят.

Будто на крыльях вылетел Павлик из мрачной приемной. Прочитав мужнины каракули с благодарением Богу за весть о себе и передачу, Луша расплакалась:

- Теперь мы с тобой, Павлушка, помыкаемся и по тюрьмам.

Суждено же было так, что мрачные предчувствия Луши поначалу не оправдались. Уже на другой день, подойдя к тюрьме, заметили, как некоторые родственники арестованных подходили к воротам, называли фамилии, а конвойный вызывал с прогулки заключенного. Подобрался к

заветной щелке и Павлик. Крикнул свою фамилию. Через полчаса из-за ворот послышался знакомый отцовский голос:

- Кто к Владыкину пришел?

- Я! - звонко крикнул Павлик. - Мы, папаня. Мы с маманей.

Отец попросил их отойти от щели подальше, чтоб лучше разглядеть. Поговорили о том, о сем, пожаловались на тяжелое положение. Павлик успел сунуть отцу десятку. Тут часовой велел отойти от ворот. Все же кратковременное свидание придало всем Владыкиным силу. Луша соорудила еще одну посылочку, а Павлик ухитрился написать записочку, только одному ему и отцу известным способом воткнул ее в огурец и, судя по ответу, она нашли своего адресата. Однако, время показало, что эти послабления - утешительные. За ними последовали удары более грозные.

При очередном распределении карточек семью Владыкиных обошли вовсе как лишенцев. Тут же нагрянула родня Петра Никитовича, помогавшая ремонтировать дом, и стали высказывать претензии на жилище. Посещения верующих сократились - из-за постоянных арестов; братья приходили по ночам. Подаяния становились скуднее. Тем не менее, с каждым днем, несмотря на растущий ком неприятностей, Луша становилась все крепче духом. Много времени проводила в молитве, и отчаяние уже не касалось сердца любящей жены и матери. Тут и весточку из тюрьмы подали: Петру Никитовичу выпало ехать в дальние края, без суда и следствия. Неясно, когда исполнится такое решение, во всяком случае, месяца два Луше передачи свои удавалось пристраивать.

В тот день, оставшийся в памяти Владыкиных, как день великой скорби, в дверь постучали. Луша возилась у плиты, только и кивнула Павлику - открой, мол. Вошли два брата. Луша не знала их, но они рассказали о знакомстве с Петром Никитовичем во время его миссионерской поездки. Теперь вот они прослышали о беде, настигшей Владыкиных. Выложили на стол скромные дары. Луша присела к ним...

- Лушка! Лушка! - истошный вопль с улицы оторвал ее от стола, как ветром вымел наружу.

Надрывалась соседка - ее муж находился в той, что и Владыкин, тюрьме.

- Слыхала? Этап, говорят. Скорее!

И пропала. Лушка кинулась в дом. Не отвечая на встревоженные расспросы братьев и сына, поспешно стала собирать вещи, в голове билась только одна мысль: побольше-потеплее, больше-потеплее...

Пискнула маленькая. Луша кинулась к ней - из головы вовсе вылетело время кормления.

Выхватила на бегу ребенка из люльки. Павлик ладил мешок на спину. Оборвала:

- Дома сиди. Гости вон!

Тяжелый мешок грузно осел за спиной у женщины, лямки врезались в плечи, а ей только на душе стало светлее - значит, много собрала для мужа, не замерзнет. И полетела.

"Только бы не опоздать!" - билась тревожная неотступная мысль, "Только бы не опоздать!"

Малышка заплакала. На ходу сунула ей грудь. Та заплакала сильнее молоко шло мимо. Пришлось остановиться.

"Ну, скорей же ты!" - мысленно уговаривала она ребенка. "Скорее, наш папка уходит..."

За углом уже слышался мерный топот сотен шагающих ног. Цокали копыта по мостовой, чей-то раздражающий кашель подчеркивал общую угрюмую, настороженную обстановку. Малыш насытился и затих.

"Опоздала!" - облилась холодным потом Луша.

Но, слава Богу, из-за угла показалась голова этапа.

- Мой-то! Моего-то не видели? - кинулась к арестантам Луша. Кое-кто ее помнил по свиданкам.

Хмуро отворачивали глаза, боясь попасть в немилость к конвойным.

- Нет.

- Не видели.

- Не ходи за нами, - грозят.

Луша побежала в хвост колонны. И сразу увидела Петра. Понуро опустив голову, он шел в середине колонны.

- Петя!

К ней кинулся конвойный, со штыком наперевес; дорогу загородил всадник - попер широкой конской грудью.

- А ну, назад! Куда? Вернись, тебе говорят!

Не слыша окриков, не боясь быть раздавленной и оказаться под копытами захрипевшего коня, пренебрегая всеми опасностями, кинулась Луша в нутро колонны.

- Петя!

- Луша!

Схватились в объятиях, троим не разорвать. Конвойный закричал:

- А ну, выйди оттуда! Ты что не знаешь, куда пришла! Назад!

Луша оторвалась от мужа, Петр Никитович поспешно перехватил дочку, загородил жену от конвойного. Луша звонко крикнула:

- Я - жена ему! Никуда я не пойду отсюда!

Колонна встала. С головы вскачь неся начальник конвоя. Арестанты не расступались, плотной массой окружили женщину, прикипевшую к мужу. Конвойный ругался:

- Ах ты, подлая! Куда влезла! Выйди, тебе говорят!

Начальник решил не провоцировать обстановку - дал знак двигаться.

- Иди уж! На месте я тебя покажу, где раки зимуют!

Петра Никитовича ошеломила такая решительность жены: вроде бы не водилось за ней отчаянности, он привык видеть ее покорной, терпеливо сносившей былые его выходки. Теперь же, в годину испытаний, пред ним предстала совершенно другая Луша - мужественная, стойкая, готовая неотступно следовать за мужем. Она ободряла его ласковыми словами, внушала твердую уверенность, что удастся перетерпеть все невзгоды, Господь пошлет им счастье, счастье потерянной жизни. И Петр Никитович стал поднимать голову. Нежно прижимая к себе ребенка, он тихо ответил жене на все ее утешения:

- Спасибо тебе, Луша. За меня не бойся - я вижу небеса отверстыми.

- Да-да... - так же тихо согласилась Луша, И оба сейчас вспомнили Евангельские слова о том, что "то, что отвоевано, то мое".

Мерно шагала колонна арестантов. Всадник неотступно следовал рядом с Владыкиными, идущими обнявшись, Видимо, он не решался разомкнуть их объятия потому, что уразумел: то, что отвоевано, то их. Он только хмурился, когда замечал движение Петра Никитовича, расценивая это, как попытку к побегу. И тогда его молодая, не привыкшая ни к крестьянскому труду, ни к заводскому станку рука еще крепче сжимала оружие.

Вышли на окраину. Теперь их гнали вдоль железнодорожных путей туда, где мрачно дремал в тупике зарешеченный "столыпин" - так называли вагоны для перевозки арестантов. Косыми лучами заходящего солнца он был преображен до неузнаваемости, казался чудовищем, отбрасывающим кривую, угрюмую тень. К нему и вели Владыкина.

Петр Никитович теснее прижимал Лушу - последние минуты вместе! Согнувшись под тяжестью огромного мешка, с сухими глазами и запекшимися устами, она выглядела едва ли не большей мученицей, нежели он сам.

"Бедная!" - дрогнуло сердце Петра Никитовича. - "Столько прожито, а много ли ласки она видела от него? Разве по молодости... Потом война, плен, возвращение, колготня по квартирам, устройство общины, поездки по селам - не слишком ли много суетливая? Может, чем-то и следовало бы поступиться во имя сохранения семейной теплоты?"

- "Нет, - услышал он в сердце твердый голос, - ничем ты, Петр Никитович, не мог поступиться, ибо в том, как жил и что делал - все во благо вашей семьи, ваших детей, ваших братьев и сестер, общины, веры. Разве Господь бы воспитал без этих трудов и забот такое отзывчивое сердце Луши? Дал бы Он тебе таких детей? Увидел бы ты сейчас свою жену вновь? Пробудилось бы в

твоей душе великое чувство - сострадание, чувство, которое наряду с любовью должно лежать в основе каждой семьи?

На все эти вопросы Петр Никитович ответил одними лишь легкими пожатиями плеча жены, Луша подняла глаза, улыбнулась.

- Давай, - сказала она и протянула руки за ребенком.

Петр Никитович освободил ее от мешка. Колонна уткнулась в "столыпин".

- Ну и жена у тебя, - покачал головой начальник конвоя, - с такой и на севере не пропадешь! Ну, а теперь, - голос его снова стал жестким: - вон из колонны!

- Иди, Луша! - нежно поцеловал ее Петр Никитович.

Стоявшие впереди него уже взялись за поручни, Луша хотела узнать, куда и когда направляется этап - бесполезно. С ней никто не стал разговаривать. Домой возвратилась в сумерках. Гости в тех же позах стыли за столом.

- Ели хоть? - сразу вспыхнуло хозяйское чувство.

- Да, мы сыты. Сама-то поешь. Как там?

Разогревая щи, Луша обо всем рассказала, только на одно пожаловалась неизвестна дальнейшая судьба Петра Никитовича.

Не ожидала Луша, что муж ее найдет такую любовь среди верующих, - в их сердцах он обретал образ мученика. Братья поведали о тех усилиях, кои прикладывал Петр Никитович для создания общины в окрестных селах. Она вспомнила его проповеди, насыщенные любовью к Господу; приводили примеры десятков и сотен обратившихся душ, поверивших слову проповедника.

Слушая их, невольно сопоставляла их слова с мнением некоторых братьев и сестер - не всегда те оставались довольны служением Петра Никитовича, усматривали в его действиях излишнюю мягкотелость. И как тут не вспомнить часы и дни, потраченные им в деле увещевания строптивой Зои и ее заблудшей матери. То, что он уединялся для бесед, видели, а то, что он наводил их на путь истинный, спасал души - осталось без внимания. Сколько же ему пришлось перенести?

Достойна ли она его подвижнического труда? Всегда ли была ему верной опорой на этом нелегком пути? Знают ли что о ней братья, ведь, может и не утерпел, иной раз, Петр Никитович, посетовал на невнимание, на трудности общения. И теперь вот сидящие за столом рассматривают ее чуть ли не с укором... Так ли это?

Луша прямо взглянула братьям в глаза - говорите же! Но те смотрели на нее взором, полным любви и христианского утешения. Точно прочитав ее мысли, один из братьев, посмотрев на часы - время-то позднее - и, поднимаясь из-за стола, заключил:

- Хорошо, что Петру Никитовичу досталась такая жена. Не у многих из нас, верующих, найдутся такие соратницы.

Павлик прикрутил огонек лампы. Луша, весь вечер испытывавшая резкое жжение в правом плече, попросила его посмотреть. Он отшатнулся:

- Мам, откуда это? Тут же кровь!

Луша повернулась к зеркалу: багровая полоса от веревочной лямки грубо врезалась в тело и кровоточила.

- От жизни, Павлик. Режет до кости житейское бремя, а не сбросишь его как мешок. Такова, видимо, наша судьба - терпеть до крови.

Спала, как убитая. Утром не смогла шевельнуть даже пальцем. А ведь ей снова надо тащиться к станции.

- Мам, да ты что?! - возмутился Павлик. Ты и так измучилась, отдыхай, я сам. Луша согласилась.

- Вагон, вроде дачного, только с решеткой. В тупике стоит.

Птицей полетел Павлик на станцию. Пришлось побродить и побегать среди составов, ныряя под вагонами и перескакивая через тормозные площадки, пока в дальнем составе не угадал он зарешеченный, тот самый вагон для арестантов,

Вдоль вагона лениво расхаживал конвойный. Он подолгу задерживался у тамбура - оттуда высовывался другой солдат, они курили, смеялись. Павлик сообразил, что во время такой

обстановки он мигом прыгнет к окну, сыщет отца и, хоть на минутку, да поглядит на него. Из окон на него смотрели не улыбочивые, заросшие лица все незнакомые. Издали Павлик разглядывал, не переставая, окна, пока не увидел отца. Он крикнул - отец глянул в другую сторону. Павлик догадался, что его не слышно. Тогда он кинулся к вагону, уцепился за раму, подтянулся на руках. Конвойный увидел, но он только что прикурил, и лень было бросать начатое дело.

- Нельзя! - вяло крикнул он, махнул рукой. - Отойди, мол.

Павлик спрыгнул, но его уже увидели, стали показывать на окно, толкнули и отца.

Как могли проститься отец с сыном через глухую преграду? Петр Никитович показал Павлику рукой на небо, на себя и на сына. Бог даровал Павлику понимание: отец завещал ему служение Господу. Слезы выступили у него на глазах, мальчик отвечал, как мог, но сердце его преисполнилось любовью к родителю. Он почувствовал, что они прощаются навсегда.

"Господи! - мысленно возопил мальчик. - Не допусти этого!"

Вагон дрогнул и покатился вперед. Конвойный прыгнул на подножку, оттуда погрозил пальцем Павлику, но мальчик этого не увидел. Он шел рядом со своим отцом и принимал от него безмолвные напутствия.

Так он шел долго, пока поезд не ускорил ход. Павлик побежал, споткнулся, больно зашиб коленку, потом вскочил...

Раскачиваясь на стыках рельсов, поезд увозил от него отца.

Страдания Петра Владыкина

Судорожно подергиваясь на стыках рельсов, со станционных путей медленно сползал набитый арестантами эшелон, взявший путь на север.

За решетчатым окном теплушки мелькали знакомые постройки, но перед затуманенным слезами взором Петра Владыкина неотступно маячил образ его сына Павлушки.

Таким он и запомнил его: худенький, с тонкой шеей из-под грубого воротника, темными бусинками глаз, спотыкающийся в лихорадочном беге за эшелон, размахивающего руками и что-то кричащего искривленным от рыдания ртом...

Петр сглатывал слезы, жался сухим лбом к рыжей стене теплушки и неустанно корил себя: виноват, виноват... Он виноват в том, что это не он, а кто-то другой поднял мальчишку с пола, когда Луша упала в обморок, кто-то другой вымолил и выплакал его у Бога, когда сын стоял почти у гроба, кто-то другой взрастил его и взлелеял, кто-то другой вложил в его сердце любовь к Богу и страх перед Ним, кто-то другой научил его петь и молиться. Но не кто-то другой, а именно его сын, Павлушка, разыскал отца среди множества арестантских лиц и взглядом сумел передать ему свое сыновнее сострадание, свою готовность принять участие в скорби отца. Вспоминая об этих минутах, Петр еще сильнее вдавливался в стенку вагона, как будто она могла взять на себя и растворить отцовское горе. Слезы неудержимым потоком орошали его лицо, но Петр не стыдился слез: пусть видят все, он плачет в осуждение себя, что не сделал всего, что мог, для сына.

Душа готова была выпрыгнуть из тела, кинуться назад, прошептать сыну одно только слово: "Прости".

И он произнес это слово в молитве Господу.

В сердце же сына его творилось совершенно иное. Он и в самом деле не ощущал отцовской ласки, но нежностями не баловали его и другие. Зато ни у кого не замечал он такой преданности в служении Господу, такой веры и неутомимой ревности, какую преподал ему отец. Нет, не идеалом был для него отец, он даже и слова-то такого не знал, но вот что отец стал для него образцом для подражания, это несомненно.

Павлик не мог припомнить случая, чтобы отец или мать беседовали бы с ним по какому-то отдельному случаю. Не было этого, нет. Редко и о Библии толковали они, редко разбирали строчки Писания, но зато всегда брали с собой на служение, где Павлик принимал участие -

поначалу молчаливое - в беседах, в пении, в общении. Так что с полной уверенностью можно было бы определить мальчика не воспитанником отца и матери в духовном смысле, а воспитанником церкви Божией. И провожая взглядом хвост эшелона, увозившего его отца, Павлик с молитвенной надеждой обратился к Тому, Кто единственный в состоянии облегчить муки страдальца - к своему Господу, Иисусу Христу.

Мерно стучали колеса вагона. Вот пробежали за окном знакомые корпуса завода, в цехах которого прошли молодые годы Петра Владыкина, вот уже виднеется купол заводской церкви в нем крестили Павлушку, а дальше зеленеют стены больницы, в которой раздался первый крик его сыночка, далее потянулся обрыв, на краю которого притулился домик Князевых, где произошло духовное рождение самого Петра. Домик показался Петру родным и близким, в памяти промелькнули волнующие события и, лица... но уже через минуту все скрылось, началась луговая пойма, по которой шли на крещение, а вот и сама речка с гостеприимными берегами, отлогими, травянистыми, слышавшими потрясающие благословения и мелодичные песнопения христиан. "Вернусь ли, увижу ли вновь родные места?" - горестная мысль отодвинула Петра Владыкина от окна и он отошел в глубь вагона.

Удушливый, спертый воздух вагона, в котором разместилось раза в три больше положенного количества арестантов, сеял уныние в сердцах его пассажиров. Многие ссыльные, стыдясь своих слез, хмуро сидели по углам, растирая грязные лица не менее грязными рукавами своей одежды в слабой надежде скрыть мимолетную слабость.

Привычный уклад человеческой жизни, уготованный Богом, предусматривал внутренний распорядок для каждой человеческой души в отдельности и для общества в целом. В этом укладе люди рождались, трудились, свято чтит имя давшего эту жизнь, старились, уходили в вечные обители, и весь этот распорядок соблюдался неукоснительно годами и столетиями. Сейчас же этот порядок по чьему-то злему наущению был нарушен неизвестно зачем и во имя чего. Если в обычной жизни существовало расписание поездов, по которому путь до Архангельска, куда направляли Петра, занимал не больше суток, то в нарушенном укладе жизни эшелон тащился более двух недель. Сутками стояли на станциях, кормили скудно, все больше куском черного, непропеченного хлеба и хвостом селедки, вызывавшим мучительную жажду у несчастных арестантов, воду же разносили кружками только на больших станциях.

Почему? Кто дал такое распоряжение, чтобы томить людей, мучить их, издеваться над их сердцами, душами, телом, сознанием?

Никакой плен нельзя было даже сравнивать с тем ужасным положением, в котором оказались арестанты. Что касается Петра, так он вспоминал годы, проведенные в плену, как время недоразумений, не более, он считал их намного лучшими даже по сравнению с этапом.

Еще до прибытия на место назначения в теплушках началась эпидемия тифа. В каждом вагоне пересчитывали покойников. Врачей не было. Сначала прибрали мертвых, потом уже выгнали живых и, точно скот, гуртом, погнали к собору, тою же злою волею превращенному в карантин. В соборе провели несколько дней. Пищи не давали. Люди мерли, как мухи, но выносить их не спешили, оставшиеся в живых, дышали зловонием смерти, и страданиям тем не было конца.

На третий день Петра осенило поискать среди арестантов братьев по вере. Осторожно двинулся вдоль нар, расспрашивая о своих. Такие действительно нашлись: Кухтин из их же общины и брат Хоменко из Конотопа.

Теперь их было трое. Прежде всего братья поблагодарили Господа за эту дорогую встречу.

Поместились все близ окошка, условились не разлучаться по возможности, поддерживать и ободрять друг друга в надежде на милость Господню.

Брат Хоменко был членом Украинского союза баптистов, совершал служение благовестника, и властям одного этого показалось достаточным для изоляции его от общества. Он был весьма слаб телом, но силен духом и мучения переносил безропотно.

Душа Николая Васильевича Кухтина сразу после ареста стала испытывать смятение. С Петром Никитовичем они были в одной общине и вот, терзающийся в сомнениях брат, стал сетовать на

неблагодарность некоторых поступков, жалел, что сказал то, а не другое что оградило бы его от страданий и не оторвало от семьи. Указания братьев на то, что страдания нужно принимать как неизбежные при служении Господу выслушивал с известной долей сомнения.

Время шло, продукты кончились, тиф свирепствовал, число умерших не сокращалось, и тогда братья возопили:

- Господи! Уведи нас отсюда, иначе мы погибнем!

Петр напомнил братьям о судьбе апостола Павла, бежавшего однажды из уз в корзине.

- Но как это осуществить?

- Пока мы на ногах, надо бежать через окно. Я просчитал шаги часового, времени нам вполне хватит, пока он не поровняется при обходе собора с этим окном.

Братья собрались, доели остатки пищи, притаились под окном. Вот уже слышны мерные шаги часового. Мимо, мимо, мимо... Уф, кажется, прошел.

Окно было вскрыто заранее. Толкнули створку, выглянули. Пусто.

- Не медлите, братья! - шепнул Петр. Он помог выбраться на волю Хоменко и закрыл за собой окно. - Теперь бежим, что есть силы до самого угла улицы надо скрыться из виду.

Первая часть плана удалась. Хоменко задышался, умолял передохнуть, но Петр был непреклонен:

- Скорее и еще раз скорее: на окраину города, прочь от карантина.

За городом немощный Хоменко повалился на мох, не в силах более выдержать предложенного Петром темпа. Они лежали, приходя в себя, и странным было то, что никто из прохожих не обращал на них внимания. Впрочем, для тех мест они были вполне привычной картиной:

валяются трое ссыльных, эка невидаль, когда полстраны заполнена ими.

К вечеру набрели на деревушку, названия которой не запомнили. Да и не до того было: по дороге, расспрашивая случайных встречных о жизни в этом крае, узнали ужасающие подробности.

Всем этим краем, принявшим ссыльных, по сути - заключенных, ведает управление Соловецких лагерей особого назначения (УСЛОН), поэтому все горемыки тут прозываются "услоновцами".

Разница между ссыльными и заключенными невелика: первые влачат жалкое существование в углах и квартирах, если повезет, и обязаны регулярно отмечаться в спецкомендатуре, вторые получают нищенскую пайку за колючей проволокой.

Правда, некоторым ссыльным, в основном специалистам, выпала редкая удача вести сносную жизнь. Остальным же пропитание обеспечивала норма на лесоразработках: сплав, лесоповал, обработка дерева на заводах. Скучное питание, суровый климат и непосильная норма выработки создавали невыносимые условия для существования и так же, как в теплушках от тифа, так здесь от изнуряющего труда несчастные умирали сотнями и тысячами. Возлагавшие надежды на семью - были и такие, кто вызывал или же ехал сюда с родными - видели свою гибельную участь, однако не в силах были противопоставить реальную силу против зла.

Нечего и говорить о тех, кто томился в концлагерях. Конвой на работу, конвой обратно в барак.

Пайкой не наешься. В отчаянии некоторые рубили себе руки и ноги - мало того, что это не спасало от работ, так еще и добавляли срок за уклонение от работы. Злостное уклонение. А раз злостное - получи еще. Зло мира не терпело вмешательства.

Издевательство над узниками было немислимым. Не выполнил норму становись на пенек и под страхом расстрела стой неподвижно, пока не свалишься. Упавшего товарищи волокли обратно в барак. Часто уже бездыханного. Некоторые конвойные отличались особой, зверской изобретательностью мук и истязаний. Заставят, к примеру, пробить во льду две лунки и тут же велют кружкой переливать воду из одной в другую. Бесцельная переноска камней из одного места в другое и обратно дело давно привычное. Никакие виды протеста, жалобы, прошения не рассматривались и прибегнувшие к ним чаще всего увеличивали число могил в этом крае.

Вот в таких краях и очутилась наша троица, вся вина их заключалась лишь в том, что они всем сердцем возлюбили Господа и в годину испытаний не отреклись от Него. Молитвенно поблагодарили Господа за то, что извлек их из душного вагона и тифозного карантина.

Куда денешься в этом краю, где каждый новенький - как соринка в глазу. Отправились на свой

страх и риск в комендатуру - регистрироваться. Их взяли на учет и тут же направили на работу. Велели выкалывать застывшие во льду бревна и складывать в штабеля. В первый же день сердца их содрогнулись от ужаса увиденного: на их глазах несколько человек, скользя по обледенелому бревну, чтобы освободить его из ледового плена, сорвались и ухнули в дымящуюся пучину. Остальные работники лишь равнодушно отошли от края пропасти, да кто-то снял шапку и перекрестился. На братскую помощь и человеческое взаимопонимание рассчитывать тут было нечего. Десятники упивались кровью своих жертв. Стоило Петру Владыкину распрямить спину и потянуться за куском обледенелого черствяка, как тут же из-под навеса выскочил рыжий детина и, потрясая пудовым кулаком, заорал:

- Что, валандаться сюда приехали? А норма? А в тайгу не хотите!? Я научу вас свободу любить! Пшел!

Сказано ведь: худое сообщество развращает добрые нравы. Услышав злобный окрик десятника, Петр невольно вспомнил свою молодость, что-то хищное шевельнулось в его сердце:

"Попробовал бы ты обойтись со мною так тогда, когда я и сам ходил подпоясанный кишкой со свинцовым набалдашником, я бы тебе..."

Но вовремя спохватился, отогнал от себя эту мысль: "Господи! Будь милостив ко мне и спаси нас".

Непосильная работа вмиг высосала все силы. Старейшего Хоменко, вконец обессиленного, перевели в подсобное хозяйство, чему он, впрочем, был несказанно рад и благодарен Богу:

"...тепло, чисто -ну прямо из ада в рай попал!" - по-детски радовался он. Кухтин же неведомыми для Петра Никитовича путями вдруг переселился в другой конец города, стал работать по дереву. В хорошее время он слыл классным краснодеревщиком.

Петра Владыкина ждали более тяжкие испытания - его свалила страшная для всякого ээка болезнь - водянка. С работы его буквально унесли на руках. Он попросил клочок бумаги. Успел лишь написать несколько слов: "Луша! Прибыл на место, всего описать не могу - страшная болезнь уложила меня в минуту, не знаю - останусь ли жив...".

Адрес писал с его слов случайный человек.

Шли месяцы. Луша переживала знакомое всем женам заключенных томительное ожидание.

Сердечная рана от скорбной разлуки с любимым мужем не давала покоя ни днем, ни ночью.

Ночью даже сильнее: боль приходила в виде сновидений, она пробиралась вместе с ним топкими болотами, вязла в трясине, страшилась окрика конвойного: "Стой! Куда прешь! Вернись!" и тянулась к мужниным рукам, уверенно поднимавших ее из губительной пучины. "Я жена его - хотела крикнуть Луша. - Я никуда не пойду от него!" Но тяжелое, тяжелое навалилось на грудь, стало трудно дышать, молоточки бились в висках, она застонала страшно, по-звериному, выкарабкиваясь из объятий мрачного сна...

- Владыкина! - колотилась в ставню почтальонша, - Проснись же, тебе письмо. Доплатное!

В свете сумрачного утра она увидела знакомые каракули мужа. Боясь, что все еще продолжается ужасный сон, стукнула себя по колену. Нет, письмо всамделишное. "Луша... прибыл... останусь ли жив...".

В кризисной ситуации человеческая мысль вдруг начинает отчетливо и ярко чертить пути спасения. Первым движением Лушиного сердца было решение немедленно ринуться в дорогу, мчаться в эти болота, виденные только что ею во сне, спасти любимого мужа, но... Взгляд ее упал на несколько картофелин в мундире, стывших с ужина, и краюшку хлеба. Маловато для дороги. Тут дочурка проснулась: "Ма-а, х-ебца!". Тяжело вздохнув, Луша отрезала тонюсенький ломтик, присыпала солью, подала, подхватила: "Спи, доченька! А мне надо к бабушке - папке хлеба добуду. Он болеет, ему тоже нужен хлебушко." Малютка повертела в руках прозрачный ломтик, отломила кусочек и протянула остальное матери: "На пеедай папи, и посему его так дойга нету-ти?" Слезы хлынули из глаз Луши: "Господи, нету больше моих сил, поддержи меня!". "Мама! - завопила и малышка, - не пьяз, папка пидет к нам!"

Луша помолилась, наспех накинула на себя одежонку, выскочила на улицу. Мимо нее как раз проезжал ломовой извозчик, на телеге горбилась прикрытая брезентом, целая гора пахучего

хлеба. Волнующий запах ударил в лицо, Луша глубоко втянула ртом утренний воздух и только тут вспомнила, что со вчерашнего обеда - если можно было назвать обедом три-четыре картошки - у нее маковой росинки не было. Но предстоящие хлопоты и, главное - тревога о муже отодвинули на задний план личные заботы.

Катерина гостила у Лушиной сестры уже третий день. В деревне тоже нуждались - женщины обсуждали виды на урожай, когда стукнула дверь.

- Мамк, - с порога выпалила Луша. - Петя письмо прислал, больной, при смерти, еду к нему, надо добыть кой-чего, так я пойду, а ты ходь к ребятам, одни остались, я побегу...

- Да стой ты, Лушка, - пыталась удержать ее Катерина, день впереди, расскажи толком... Вот и Поля...

Сестра в испуге застыла с самоваром в руках.

- Ах, Полюшк, ведь это вам можно целый день ждать, а у меня может сей момент жизнь мужнина решаецца. Нет уж, я побегу.

Луша повернула к хлебной лавке. За прилавком, постоянно прикладывая несвежее полотенце к мокрым губам, стоял худенький торговец.

- Максим Федорович, голубчик. Не ругай ты меня за попрошайничество, да не могу по-другому: горе у меня с Петей, письмо прислал, больной, при смерти, хочу ехать, а вить ты знаешь...

Максим Федорович обеими руками остановил сбивчивую Лушину речь.

- Ах, Пет Никитич, Пет Никитич, - скороговоркой, слегка пришепетывая, затараторил торговец, - какую судьбу тебе Бог послал! Хорошо, что пришла... Это у тебя чего - мешок, что ли ча? Давай-ка сюда...

- Сумка это, Максим Федорович, - неловко пробормотала Луша.

- Давай, давай сюда... Пока закрой ставни у лавки, от любопытного глаза... А я сейчас... Сейчас приготовлю... Он стал совать в сумку белые ковриги хлеба - того самого, который везли спозаранку ей навстречу - но тут же переменял сумку, взял мешок: - Маловата, пожалуй, будет. - Да хватит вам, Максим Федорович! - не веря своему счастью, взмолилась Луша. - Чай и тебя проверять будут, по талонам-то. - Ах, - отмахнулся торговец, - отчитаюсь, не боюсь: перед людьми же, не пред Богом.

Он замолчал, сердито втискивая ковриги в объемистый мешок. Третий год пошел с того дня, как Максим Федорович последний раз был в Церкви. Охладев к вере, запил, приглянулся властям, те прибрали его к рукам, поставив заведовать хлебной лавкой.

Уже на пороге тайком сунул Лушке пачку денег:

"Бери, бери - все одно пропью, а тебе в дорогу... Может, помянешь меня... перед Господом".

До конца дня Луша посетила еще несколько верующих, в поисках средств на дорогу, заглянула в семью Кухтиных - сын тоже вызвался ехать к отцу, собрала кое-чего в дорогу и без сил прилегла отдохнуть.

До Москвы дорога была легкая, а уж с Ярославского вокзала началось. Такое, что трудно описать, Поезд до Архангельска буквально осадили обвешанные мешками люди. Вопль стоял невообразимый. Вагоны брали штурмом. Порядка никакого и никто даже не думал соблюдать этот порядок: все знали, что в ту сторону едут родственники заключенных, значит - врагов народа, а, следовательно, и родственники их не нуждаются в охране от произвола и бесчинств.

Луша с парнем, который вызвался навестить отца, стояли в стороне и не видели никакой возможности протиснуться в вагон. Но младший Кухтин оказался сообразительней. Он узрел открытое окно и мгновенно в его голове созрел пристойный план взятия вагона.

- Теть Луш! Я полез в окно, ты передашь вещи, потом и тебя втащим!

План оказался спасительным: в минуту парень подтянулся на руках и втащил свое тощее тело в окно, Луша подала вещи, тут подвернувшийся мужик и ее посадил. Оглядевшись, вздохнули с облегчением - место и впрямь сносное. Особенно если учесть, что вагон забили до отказа, а кое-где люди устраивались прямо на полу.

В Архангельск приехали утром. Густой туман висел над бухтой, в которой басовито гудели

пароходы. Вместе с прибывшими потянулись к парому: в дороге Луша узнала, что и ей надобно на ту сторону. Что из себя представляет "та" сторона, она еще не вполне точно уяснила.

Туман скрывал причальные постройки, но все же кое-что можно было разглядеть, и вот уже радостно загалдели: "Москва" идет! "Москва" идет!" Из тумана вынырнула громада парохода-парома. Трапа дожидаться не стали: будто гонимые неотвратимым бедствием, люди стали хвататься за причальные швартовы, карабкаться на палубу, перепрыгивать через борта, кто-то истошно завопил, обрываясь в воду, у кого-то в суматохе сперли вещи... Эх, Россия!

В Соломбале - островной части Архангельска, где в основном-то и разместили ссыльных, Луша - не без провожатых, правда, которые не преминули кое-чем воспользоваться тайком из Лушиных вещей - разыскала дом, указанный Петром в письме. Сердце сжалось: что с ним? Успела ли?

Увидит ли родимого или же придется облить горячими слезами свежую могилку? Дернули нитку звонка. Молчание. Луша беспомощно оглянулась на Мишку. Тот стоял, задрал голову. Луша и сама посмотрела в ту сторону: над ними нависло тяжелое, стылое небо, в котором дыбились, переливались волнами зловещие переливы.

- Что это? - в испуге спросила Луша.

- Наверное, сияние. Северное. Училка объясняла, - стараясь не подать виду, что и на него произвело жуткое впечатление необычное явление природы, ответил Мишка. В это время в калитку с улицы толкнулась какая-то женщина:

- Вам кого? Кого ищете?

- Владыкина. Петра Никитовича.

- Вы ж кем ему доводитеесь?

- Женою, кем еще.

- Жена? Ой ли? Такая молоденькая, а он уж старый, поди.

- Да мне-то что, что сделаеца - дома живу. А ему-то какво! Да не томите душу - живой ли?

Женщина покачала головой, как будто показывая, что она понимает Лушино положение, страдает ей, но точно ответить не решается.

-Да вы проходите, чем на морозе стоять-то!

В домике сели на лавку. Луша осмотрелась: непривычно все так-то. Хозяйка же захлопотала с самоваром, а между делом рассказывала:

- Мужа вашего я знаю, он болел тут, однако, вышел приказ перевезти его в другое место, куда-то за реку, километров шесть будет, так что теперь он в деревне, искать самой придется, у меня провожатых нету, а жив он или нет не знаю, не знаю, что и советовать...

- А ничего советовать не надо - пойду сама искать. Ждать мне особо некогда - дети остались малые, а вот если разрешите часть вещичек тут, в уголке сложить, то и на том спасибо. Покажите только, куда идти.

Хозяйка проводила их к обрыву: вниз у крутого спуска, у крохотного причальчика такой же игрушечный пароходик, сновавший с одного берега на другой, с Мишкой перебрались через рукав Северной Двины в крохотный поселок, заполненный поселенцами. Здесь узнали, что ей надо топтать еще километров восемь за лес, где поместили Владыкина, и тут она рассталась с Мишкой: отец его теперь уже был в другом конце Архангельска. С тем же пароходиком он уплыл обратно. Луша взвалила мешок на плечи и зашагала к лесу.

Оборванные, измученные, угрюмые люди встречались ей на пути. Некоторые из них с удивлением рассматривали женщину с узлом за плечами и только много позже Луша узнала, что ни одна женщина не отважилась бы пуститься в одиночку в такое путешествие по местам, сплошь заселенным ссыльными, заключенными и вольнопоселенцами. Однако в то время Луше было не до собственной безопасности, все мысли ее вертелись вокруг мужниной судьбы. Жив ли? Это было единственное, что двигало, управляло, хранило и держало Лушу в глухом месте далеко за Архангельском.

Надвигались сумерки. Веревка от узла нещадно резала плечи. Зябли ноги, обутые в простые мужские ботинки. Встречные стали попадаться реже - дело к ночи. До сих пор никто толком не

объяснил ей, где же та деревня, и из этого Луша сделала правильный вывод: все они тут люди пришлые, места не знают, отбывают срок и с надеждой думают о своем доме, о своих детях и нет им никакого дела до какой-то деревни, где, может быть, и мечется в горячке такой же брат ссыльный, как и они, да что им до того... иди, молодуха, пока цела...

Впереди блеснули отблески костра. Спотыкаясь о валежины, обдирая руки в кровь, хватаясь за сучья, Луша пошла к костру напролом.

У огня грелись несколько мужиков. Издали Луша заметила их угрюмые, без присутствия всякой мысли, лица, изможденные каторжным, непосильным трудом.

- Мужики, - еле переводя дыхание, Луша ступила в свет от костра. - Я мужа своего ищу, Владыкина, Петра, не знаете, где та деревня...

От женского голоса в этой таежной чащобе мужики вздрогнули, как будто рядом с ними разорвалась граната. Они оборотились на голос и ...невольно стали подниматься на ноги. В самом деле, было от чего им обалдеть: перед ними стояла молодая женщина, с выбившейся прядью из-под скомканного платка, руки у нее висели как плети, все в кровавых ссадинах, сбившиеся вкривь и вкось чулки облепил снег, сквозь который проступала кровь, бисеринки крови сопровождали ее след и мужики проследили взглядом этот путь.

- Гм, гм.., - самый старший откашлялся, не зная, как ему поступить хотя в обычных условиях он легко управлялся с целой бригадой озверевших эзков. Эх, голубушка, не многие жены способны на такой подвиг. Лично я так первый раз встречаю такое. Видимо, сам Бог хранил тебя в пути, ну и мы не тронем. Твоя любовь тебя сберегла и мужа твоего поднимет с постели. Деревни той мы не знаем, а вот на опушке кузница стоит, там кузнец знает, он местный. Иди с миром...

Долго еще стояли потрясенные мужики, провожая взглядами удаляющуюся фигуру Луши и не один из них внутренне всплакнул, припомнив неверных жен, брошенных детей, жестокости закона - у каждого свое, как говорится: "в каждом доме по кому". И лишь один из них наклонился, взяв пригоршню снега с капелькой застывшей крови:

- Вот только где подтверждаются кровью написанные строки: "В пустыне греховной, земной, где неправды гнетущий обман, я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан..."

Кузнецов было двое, да еще крестьянин из дальнего села пришел за подковкой, вот эти трое и наблюдали через узенькое, закопченное окошко как вдоль леса, уже едва заметная в сумеречном свете, пробирается к ним фигурка с огромным узлом за плечами.

- Ссылный, что ли? - высказал предположение один кузнец.

- Ну да, - нехотя возразил другой. - Откуда у него добра столько.

- Беглец! - ляпнул крестьянин, и тут же осекся под укоризненными взглядами своих сотоварищей: в эту сторону путь для беглеца был бы безнадежен. Кузнец вдруг привстал, протер окошко, заволновался:

- Братцы! Никак женщина! Точно тебе говорю - баба!

Втроем они выскочили наружу. Проваливаясь по колено в снегу, к ним в самом деле приближалась женщина.

- Бог в помощь, добрые люди! - Луша еле переводила дыхание. Неимоверная усталость подкосила ее ноги, она прислонилась узлом к стене кузницы и со стоном опустилась на корточки.

Остолбеневшие кузнецы только и нашлись что сказать:

- Спасибо, матушка.

Первым нашелся крестьянин. Он кинулся к Луше:

- Страдалица! Дай хоть мешок помогу-от снять. Глянь, как давит-от!

- Нет, касатик, уж мешка-то я и не сниму как раз. Сыму, больше не надену: сил нету больше. Из Москвы я... пробираюсь к мужу, не знаю, застану ли живого. Плутаюсь по чащобе, никто не знает, где та деревня. Христа ради, скажите хоть вы...

Тут старший из кузнецов пришел в себя и захопотал:

- Рассказывать тут нечего: вот она, за кустиками. Да напрямиком не пройдешь к ней, там овражек и ручей в нем, ручей, хоть и неширокий, да глубокий, так что передохни малость, мы к дому пойдём

и тебя проводим

- Да что ты, батюшка, как можно ждать! Нет уж, я пойду. Тут, может, каждый час дорог, а ты "передохни да пожди". Бог поможет, самое страшное уж прошла...

- Страшное-от у тебя еще впереди, - глуховато произнес молчавший до того кузнец.

- Тогда иди! - старший махнул рукой в сторону деревни. Во-от по этой стежке и топай. Там ручей-то помельче будет. Не сумеешь, вернись - тогда поможем.

С трудом Луша оторвалась от спасительной стенки, Кузница осталась позади. Вот и овражек. Да это только сказать так: овражек. Яр, в глубине которого дымится черный ручей. Кое-как сползла долу, пошла вдоль ручья. Широко, однако же. Поплелась вдоль ручья, выискивая место поуже. Вот оно! И колышек рядом: не одна она видно скакала тут через воду. Преодолев водную преграду, свалилась наземь. Хотела передохнуть, узел с плеч сняла, но вспомнила о Том, кто хранил ее и помогал в дороге. Долго молилась, благодаря Господа за помощь в пути. Уже воздавая вечную хвалу Богу Отцу, Сыну и Духу Святому, почувствовала жжение в том месте, где приходилась веревка от узла. Расстегнула фуфайку, попробовала поднять платье: не тут-то было - от запекшейся крови платье плотно прилипло к телу и заскорузлая кровь просочилась наружу. Кое-как подложила тряпку и вновь приладила мешок.

Подвернувшиеся ребятишки указали ей нужный дом. Робко переступила она порожек. В первой же комнате она увидела четыре кровати. Людей не было, хозяева не выходили. Тяжелый, спертый воздух ударил в нос, невольно Луша даже зажмурилась. Она стащила узел с плеч, огляделась и сердце сжалось в испуге: одна из кроватей, точнее какая-то грудка, лежащая на кровати, была прикрыта... ее одеялом. Это она дала его в дорогу мужу. Это же ее собственное одеяло! Она шагнула к этой кровати, в этот миг скрипнула дверь испуганное лицо хозяйки показалось в ней.

- Кто вы? Что вам тут нужно? Сюда нельзя! - быстрым шепотом заговорила она.

- Простите, я мужа своего ищу... Вот... одеяло мое...

И уже не слушая хозяйку, шагнула к кровати, откинула одеяло...

Бесформенная туша с каким-то подобием головы тяжело сипела через крохотное отверстие, напоминавшее рот человека.

- Петя! - не помня себя, в ужасе отшатнулась Луша. Опухшие ниточки глаз слегка дрогнули, в них мелькнули проблески теплившейся жизни. Туша слегка пошевелилась, раздался стон не стон, но в нем преданная жена уловила собственное имя:

- Луша!

Из опухших подбровий скатились бусинки слез. Одинокий, всеми заброшенный, больной и голодный, с глазу на глаз с приближающимся смертным холодом лежал в суровом северном краю верующий христианин Петр Владыкин, осужденный на эти муки сатанинской властью, властью тьмы. Бог же не оставляет Своих детей. И в этот раз милость Божья, в лице верной жены, проехавшей и прошагавшей полстраны, оставившей кровавые следы на многочисленных ее тропках, принесла ему спасение.

Луша в отчаянии упала на одеяло, заголосила, предчувствуя еще более тяжкие испытания, но у мужа не нашлось сил даже поднять руку, чтобы ободрить ее, Едва слышно просипел дырочкой рта:

- Не бойся, Луша! Я не умру! Я выздоровлю - сам Бог послал мне тебя для исцеления. Он открыл мне, что я должен еще потрудиться для Него. Поднимите меня.

Женщины с трудом приподняли опухшее тело. Петр жалостливо поглядел на жену:

- Поесть... поесть принесла ли?

- Есть... харчей притащила довольно. Щас мешок развяжу. Ты только понемногу ешь... Я тебя буду кормить часто, но понемногу...

Петр с жадностью поглощал поднесенные куски, а один раз даже попытался схватить кусок, протянув растопыренные, уродливо отекшие пальцы. Луша с болью отвела взгляд от этой картины.

Тело Петра настолько опухло, что не было возможности надеть на него белье. Только тулуп и

накинули на голое тело.

Пришел хозяин. Луша попросила истопить баню. Хозяин кивнул: дескать, не против, но ты уж сама распорядись. Вышел за дровами.

Луша принялась "распоряжаться": вдвоем с хозяйкой подперли обессиленное тело Петра и кое-как дотащили до бани. Тут возникли новые трудности: тело Петра никак нельзя было протиснуть сквозь двери. На подмогу хозяин кликнул сына. Вот так, вчетвером воздружили Петра на полоч, хозяин наподдавал жару и больной пролежал в немыслимой и для нормального человека температуре почти три часа, пока внутренняя вода не стала сочиться через распаренные поры. Из бани вышел уже с помощью одной Луши. Стали советоваться, что делать. Ясно было одно: лечение надо продолжать. Решено везти Петра в город. Новые испытания выпали на долю Луши: надо было умудриться, не привлекая внимания к обезображенному телу мужа, найти лодочника, перевезти Петра к пароходу, оттуда добраться до города, а кругом начальство, то и дело встречаются конвойные, сопровождающие эков, в городе найти такую больницу, в которую согласились бы принять больного. Ох, как тут не зарыдать на ступеньках очередной такой "милосердной палаты", врач которой, брезгливо посмотрев на телегу, где лежал опухший Петр, отказал наотрез.

Возчик равнодушно похлопывал кнутовищем по валенкам, лениво цедил:

- Да не убивайся ты... эка невидаль: хворь! Чай, и здоровые помирают!

И вот именно он, грубый, безразличный, казалось к любому человеческому горю, нехотя подтолкнул Лушу и кратко сказал:

- Ладно тебе... будя. Едем со мною.

Телега завернула за угол, возчик скомандовал! тпр-ру! И стукнул в калитку. Из дома вышел пожилой, сутулый человек. Молча взглянул на возчика, перевел взгляд на Лушу, с нее на бесформенное, тело Петра. Молча понял происходящее, кивнул головой: рассказывай, мол. Захлебываясь в слезах, Луша описала положение дел, как могла. Все так же, не произнеся ни слова, человек вынул листок бумажки, что-то быстро чиркнул в нем, сложил, протянул Луше. И тут впервые заговорил:

- Поезжай в больницу... он знает, - кивнул в сторону возчика, - там скажите, что от меня.

И не говоря больше ни слова, повернулся и скрылся в доме.

- Ну вот, - все так же безразличным тоном бормотал возчик, - а ты хныкала. Господь все знает - где и как... Нн-но, милая!

В приемной больницы Луша подала записку. Тощая старуха в белом халате глянула только и сразу же куда-то заспешила, кинув на ходу:

- Сиди тут, дожидайся.

Ждать пришлось недолго: из коридора вынырнул полный мужчина в сопровождении той же старухи и, приблизившись, резким тенорком, но довольно любезно спросил:

- Ну-с, так это вы записочку принесли-с?

- Я, - оробела Луша. Страха, однако, почему-то не испытывала.

- Пойдемте-с в кабинет!

Скромная комнатуха, которую доктор именовал "кабинетом", была вся уставлена медицинским оборудованием. Доктор сел за стол, Луше уже и повернуться негде было.

- Вы не стесняйтесь, вот тут присаживайте-с! У нас тесновато, да ведь иных условий не создают-с!

Ну-с, рассказывайте мне все без утайки: кто ваш муж, имя, фамилия, отчество, за что сослан, на какой срок. Одним словом, полный портрет. Врач должен знать все.

Голос доктора, облик его внушали доверие. Луша разоткровенничалась.

- Сами-то мы из-под Москвы. Мужа арестовали за Слово Божие, он руководил общиной. Мы баптисты по верованию, и всех наших позаарестовывали. Тут муж заболел, не знамо чем пухлый весь. Без меня погиб бы. Ну и со мной не легче - вон уж какую больницу объезжаем, а все не берет. Дома у меня трое детишек, да старуха мать. Вот и все.

Доктор помолчал, повертел в руках бумажку, сунул ее в карман.

- Так вот-с, уважаемая-с, вы совершенно успокойтесь, вашего мужа мы примем. Здоровье ему пошлет Бог, а уходом мы обеспечим. Готовьте мужа.

Возчик, видимо, заранее зная исход дела, уже стоял с готовыми носилками. Старуха привела санитаря, гуртом они погрузили немощного Петра на носилки, отнесли в указанное место. Луша расплатилась с возчиком, продолжавшим нехотя цедить сквозь зубы в ответ на слова благодарности:

- Да ладно, да чего там, да с кем не бывает...

Луша подождала, как велели, потом старуха окликнула ее. Она вошла в палату. Муж лежал на чистой постели, весь расслабленный - его только что вымыли, ворот белой рубахи торчал у самого уха. Луша потянулась поправить его, Петр благодарно улыбнулся:

- Пусть Господь воздаст тебе по заслугам, дорогая моя. В смертный час послал он тебя ко мне на помощь. Теперь-то я уж точно жив буду, а тебе пора обратно домой, к детишкам. Чай и там не сладко.

Луша поцеловала его, вместе они помолились, тут заглянула старуха, суровым тоном потребовала оставить больного в покое. Луша внутренне воспротивилась, хотела сказать: "какой же он "больной", он - муж мой", но Петр глазами сказал ей: "не спорь, милая, иди".

На улице Луша увидела знакомую уже лошададку. Глядя куда-то в сторону, скучным голосом возчик пробормотал:

- Уж поехал было, да про тебя подумал: ну, я домой, а ты куда? Чего тебе мыкаться в чужом городе, чай не переспишь места-то, ко мне давай.

Лушу поразил этот жест грубоватого, простого возчика. Надумай она обратиться за помощью к лихачу, небось так и мыкалась бы до сих пор по больницам, да и деньги содрали бы немалые, а вот Бог послал ей такого отзывчивого человека. Не будь у нее угла, нашла бы где приклонить голову у этого человека, но в знакомой избе оставались еще вещи, надо было хлопотать о билете и, сердечно поблагодарив возчика, отказалась. Тот не обиделся, сплюнул и буркнул:

- Ну, давай адрес-то, куда отвезти тебя...

Обратный путь был намного легче - власти отпускать людей не торопились. Луша ехала в свободном вагоне, просто пересела - и в Москве. И дома не оставляла ее милость Господня: мать присмотрела за ребятишками, никто не хворал, вечер прошел в рассказах.

Месяц прошел - ни строчки. Луша истомилась душой, глаза проглядела в окошко, ожидая почтальона. И вот знакомый стук в калитку:

- Владыкина! Прймай письмо!

Луша кинула взгляд на конверт: адрес написан знакомым почерком. Слава Богу, жив. Петр сообщал, что к великой его радости, врач оказался верующим, ухаживал за ним, как за дитем, поправлялся он быстро, уже здоров, выписался из больницы, устроился работать сапожником. Место для поселения отвели ему в 30 километрах от Архангельска, на берегу речки в поселке Рикасиха. Соседи хорошие - семья из верующих.

Прошел почти год. Письма шли регулярно, Луша кое-как справлялась с хозяйством, Петр уже подсчитывал время до окончания ссылки, и все бы можно было перенести, кабы не одно обстоятельство.

Однажды к Луше забежал Мишка, сын Кухтина:

- А мы на Кавказ собираемся. Говорю это по секрету, папка велел. Ты ж знаешь -и полтора года не прошло, а его отпустили. Что ж твой не хлопочет о прощении?

У Луши от удивления подпрыгнула бровь:

- Хлопотать о прощении? О чем ты, Миша? Да я... как это?

Мишка только отмахнулся: что мол, говорить с глупой бабой. А у Луши снова затревожилось сердце: как же это так, что Кухтина освободили по какому-то прошению? Ссылали будто вместе, срок давали один, а возвращаются порознь. В чем тут дело? Надо поехать к Петру.

Сказано - сделано. На сей раз сборы были короткими. Время изменилось, кажется уже всех попересажали, можно было и телеграмму дать. По телеграмме и встретил ее Петр. Расцеловались

и поехали в поселок.

По дороге говорили о том, о сем - все больше о хозяйстве, детях, да Петровой работе. А в доме Луша напрямик спросила о Кухтине.

Петр замялся. Повздыхал, походил по комнате, потом вытащил какую-то бумажку, разгладил ее.

- Тут просто не расскажешь. Но в общем так. Пришел ко мне Кухтин, как-то под вечер дело было, у меня заказ срочный был, так я на дому работал. Вижу, он мнет. Спрашиваю: в чем дело? Он мне: есть возможность сократить наш срок пребывания в ссылке. У меня и глаза на лоб: как же так можно? А вот так, отвечает -с лукавым надо по лукавому, жизни надо спасать, у нас дети остались, как бы по миру не пошли, а тут не знамо как повернут дело. Ты же, дескать, не лиходей самому себе, неужто не хочешь к семье вернуться. А сам бумажку-то эту в руке крутит и крутит. Что, думаю, за бумага такая. А он будто мысли мои читает. Вот, говорит, я уже бумажку подписал, мне велели собираться, на той неделе документы пришлют. И тебе советую. Я даже образец захватил. Читай!

Петр протянул Луше мятую бумажку. Это был стандартный отказной бланк, на котором, впрочем, была уже вписана фамилия Владыкина.

"Я, Владыкин Петр Никитыч, осознал, что мои религиозные убеждения и действия, за которые я наказан, действительно против нашего общества и наказан я правильно. Поэтому прошу простить меня и отпустить к семье, впредь этого распространять не буду.

Место для подписи....."

- Ну вот, теперь как же ты мне, Луша, посоветуешь: подписывать аль нет такую бумагу?

И прямо глядя в глаза жене, Петр размашисто припечатал бумагу к столу.

Луша соображала недолго: кажется тут был только один выход.

- Подписать такую бумагу - самое последнее и негодное дело. Брось ты ее. Так поступать не надо.

Божья воля - Он уж нас сам рассудит, а тут вроде бы надо отречься от Бога. Нет, не надо.

С жаром обнял жену Петр Владыкин, расцеловал и украдкой смахнул слезу: вышло, как он и думал - вместе они, вместе!

- Так и я ответил Кухтину. Николай Васильевич, говорю ему, ты постоянно хитрил да лукавил, а есть такое, брат мой, что надо правду говорить. Насчет же твоего правила: "с лукавым по лукавому" так отвечу: страшна участь ленивого и лукавого раба, избавь от нее меня Господь. Насчет же спасения жизней - не нам с тобою о том задумываться. Я до того, как уверовал, столько раз ее спасал, а все одно ходил над пропастью, если б не Господь, уже давно и кости бы мои сгнили в навозной куче. Только теперь я знаю, что моя жизнь спасена и я в руках Божьих. И за семью у меня нет беспокойства - не я ее спас от голода, а жена моя приехала ко мне и спасла от смерти. Давно говорят и дивно: "Я был молод и состарился, но не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба" (Пс. 36:25). Бумажку твою не принимаю, и образец этот - свидетельство твоей неверности, а не моей. Буду ждать избавления из рук Господа, не НКВД.

- И правильно, Петя, - миролюбиво сказала Луша, видя, как волнуется муж, вспоминая пережитое.

- Давай помолимся на коленях.

За ужином Петр пересказал все новости и к концу помрачнел:

- Глубокая скорбь посетила нас: отошел в вечность дорогой наш брат Белавин... да, да тот самый, который видел тебя в лесу, ты говорила, что он направил тебя к кузнецам. Он мне рассказывал, как ты появилась в лесу, у костра, вся истерзанная, в крови. Узнал, что ты моя жена и заплакал: "За мной, говорит, никто не приедет, никто с постели не поднимет". И как в воду глядел. Заболел, промучился бедолага... Он из Москвы, где-то на Гороховской жил, недалеко от гостиницы "Фантазия". Жена у него больная, дети перепуганы: как-никак брат был видным проповедником по Москве, многим известный. Телеграмму я отбил, да что толку, вряд ли приедут. А надо бы схоронить по-христиански. Снесли в морг. Надо б нам проводить его, что ли...

- Да, Петя, мы-то люди простые, значит, привычные к трудностям, а городским-то потяжелее будет, они понежнее нас с тобой. Да и судьба каждому своя дана, Господь избирает, кого к чему. Вот хоть на своего посмотри: плаксивый был, да зеленый, уж не знаю, какая только болезнь к

нему не цеплялась, да ведь вырос и не простой он, Павлушка-то: все его любят, и в школе, и в церкви. Да и сам тычется всюду, как бы какую копейку достать, да все домой несет, матери. Петр Никитович жадно слушал рассказ о сыне.

- Вот с осени в Подольск куда-то послали, дак нет месяца, чтоб не приехал, да целковых двадцать не привез. И все про отца спрашивает, молиться, правда, перестал, активистом заделался, чую: покуривать стал, да Бога в душе помнит. Пишет, что его через класс переводят...

Невольно слезы выступили на глазах Владыкина, не стесняясь он вытирал их тыльной стороной ладони, а как вспомнил сынишку, бегущего за эшеленом, слезы полились ручьем. Луша и сама всплакнула,

Наутро пришли к моргу. Там уж скопилось незнамо сколько родственников погибших, стояли скорбные, ждали сторожа.

Пришел худой и высокий старик, не глядя по сторонам, подошел к двери, загремел ключами. Луша оказалась подле него, и он пропустил ее вперед. Тут же с криком ужаса Луша подалась назад. Тучи крыс со свистом кинулись врассыпную. На полу, в разных позах, валялись трупы. Половина из них были раздеты, на остальных висели подобию лохмотьев. Все они были уже обгрызены крысами.

- Вот гляди, Луша, на это зрелище и думай, что кабы не милость Божия, да не его защита тебя в дороге, лежать бы и мне между ними. Так что, считай, что и меня уже нет, жизнь потеряна, и только чудом Божиим мы сегодня вместе и это счастье - счастье уже потерянной жизни.

Луша не рискнула ступить вовнутрь, Петр отправился на поиски сам. Довольно скоро он вернулся.

- Он там. Нужны носилки.

Сторож помог вынести Белавина наружу, Петр похлопотал о подводе, брата отвезли на квартиру, где несколько верующих сестер принялись обряжать его к последнему пути. Петр оповестил остальных христиан.

Среди провожающих появился Хоменко, были и неверующие. Петр произнес краткую проповедь, молча двинулись на кладбище. Здесь спели несколько христианских гимнов и тело брата Белавина предали земле. Кто-то прислонил к холмику фанерную табличку с текстом из Экклезиаста 12-я глава, 7-й стих: "И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, Который дал его."

Через несколько дней появились родственники усопшего. Был среди них и старший сын его. Петр проводил их к могиле брата. Поплакали, поскорбели, поблагодарили Петра Никитовича за хлопоты. Владыкин попросил сына Белавина разыскать в Подольске Павлика и передать ему подарок. Тот охотно согласился.

Луша уезжала довольная. Положение Петра улучшилось, своей кротостью и исполнительностью он снискал расположение начальства, и оно обещало перевести его в город. Уезжала Луша со спокойной душой.

Прошло лето 1932 года. Владыкину пора было уж собираться домой: заканчивался срок его ссылки. Луша жила в ожидании. И вдруг - новая напасть. Петра в самом деле перевели в город, определили по сапожному делу, но дали немислимый план, о выполнении которого нечего было и думать. Директор же был неумолим: не выполнишь, пойдешь назад, на лесоповал. Сказал - как отрезал. Петр знал по опыту, чем грозит ему работа на лесоповале или лесоразработке: тучи комаров, свинцовые бревна, непосильный труд, скудное питание и как результат этого, слабость, болезнь, смерть. Выход был один: работать над планом всей семьей. Об этом и написал Петр письмо.

Томительно потянулись дня ожидания. Петр нервничал: как отзовется Луша? Куда девать детей? Ну, с малыши ладно - Катерина присмотрит, а Павлик? Приедет ли он? Согласится ли бросить учебу? Разделит ли тяжкую участь отца? Тысячи вопросов не укладывались в голове. Хоменко, заглядывая к Петру, призывал к молитве, вместе молили Господа разрешить бремя забот. И вот уже в начале лета хозяйка радостно встретила Петра у самой калитки:

- Вам телеграмма-вся семья едет.

Петр кинулся в избу. На столе белела телеграмма: "Петя, встречай, еду семьей. Луша". Назван номер вагона. Но где указание, что едет Павлик? Петр даже перевернул листочек, будто надеясь прочитает ответ на обратной стороне. Тщетно. Если его не будет, какая помощь от малолетних ребяташек?

На вокзал Петр помчался за два часа до прихода поезда. Да на вокзале пришлось протомиться столько же: горели леса, поезда опаздывали немилосердно. Наконец, вышел начальник станции, громко крикнул:

- Московский подходит!

Звякнул колокол. Распуская клубы пара, к перрону подходил долгожданный состав. Толпы встречающих облепили вагон. Петр со страхом ожидал в сторонке. Наконец, вышли самые нетерпеливые, счастливые от встречи, они закупорили проход, а сзади вытягивали шеи те, кто уже видел родственников, но не имел возможности кинуться в их объятия. Но вот разобрались. И тут в тамбуре, за спиной высокого юноши, показалась Лушина косынка. Петр кинулся к ней. Но уже передавали ему детей, он обнимал их, плакал, те испуганно жались к маме, а Луша улыбалась:

- Да это же папка наш, чего ревете-то? Ну, а главного что не целуешь?

Петр поднял голову: перед ним стоял высокий, стройный юноша, тот самый, который загоразживал Лушу в тамбуре. Волна темных волос небрежно выбилась из-под новехонькой кепки. Смуглое лицо напомнило Петру девический образ Луши, в ту самую встречу в Вершках, у плетня. Для него это было так неожиданно, что он даже перевел взгляд на Лушу, сравнивая, и увидел лукавые огоньки в ее глазах.

- Никак не признал? - улыбаясь спросила она, - Да Павлик, Павлик это!

И тогда Петр пришел в себя, шагнул навстречу сыну, протянул ему руки, тот сделал шаг навстречу.

- Павлик!

- Ну, Слава Богу! - вытирая подступившие слезы, тихо проговорила Луша, ожидая своей очереди.

Защитник истины

Отбушевали метели 1935 года, зазвенела капель, осели рыхлые сугробы, солнце подолгу задерживалось в. безоблачном небе, любясь своим отражением в редкой позолоте уцелевших церквей, дружелюбно заглядывая через кисейные занавески, предвещая близкую весну. Весной отменили карточки, прохожие недоверчиво толпились у витрин магазинов, робко переступали порог, а навстречу им уже несли полные корзинки со снедью, еще вчера только снившейся обывателям городка.

Перемены, перемены. Для кого радостные, для других скорбные.

Возле дверей райотдела милиции притормозила легковая машина. Из нее выпрыгнул мужчина в форме сотрудника НКВД, подождал у открытой дверцы, давая возможность выйти молодому человеку и солдату с винтовкой в руках. Все трое скрылись за дверями казенного дома.

- Ну вот, Владыкин, - будто радуясь редкой удаче, проговорил мужчина, пропуская Павла в свой кабинет. - Теперь вместо заводского кабинета придется тебе познакомиться и с кабинетом начальника милиции. Садись. Сегодня у меня нет времени для беседы с тобой, заполним кое-какие документы, а там... Поживешь пока здесь.

И уставившись в лицо ссутулившегося Павла своими бесцветными глазами, добавил:

- Вот, в других местах ты научился бойко проповедовать, поглядим теперь, как здесь получится.

По дороге в милицию Павел отмалчивался, мысленно творя молитву и сердце, сдавленное трагической неизвестностью, здесь успокоилось.

Начальник быстро сделал свои дела, кивнул на прощание Павлу и уступил свое место милиционеру. Тот сразу же принялся укорять Павла:

- Ишь ты, молоденький совсем, а уже успел напроказничать. Чего ты такой? А?

Осерчал, не слыша виноватого оправдания, к чему привык за годы службы:

- Ишь ты, сердитый! Ну-ну! Не захотел спать у мамы с папой на кровати, так пойдем, я тебя сейчас

уложу на перину с дубовым пухом!

И радостно загоготал над собственной шуткой. Они прошли вонючим коридором, спустились в подвал, сопровождающий позвякал ключами. Павла неприятно поразил металлический звон ключей и визгливый скрип открываемой двери. Узника толкнули в спину довольно грубо:

- Заходи!

Дверь тут же захлопнулась. В нос ударило зловоние открытой параша, в воздухе висел запах махорочного дыма и тяжелого перегара. В углу, на нарах натужно сипел валявшийся в беспамятстве пьяница, испачканный в собственной блевотине. Павла охватил ужас, он долго стоял, прислонившись к дверному косяку, ощупывая себя: уж не сон ли приснился? Нет, не сон. Увы, это был не сон. Жестокая действительность начинала писать свою историю на чистых страницах биографии Павла, уже начинала формировать его жизнь духовно и физически. Попробовал помолиться - не вышло: тяжелый смрад камеры, бессвязное мычание алкоголика, собственное душевное смятение позволили ему лишь произнести несколько слов:

- Боже мой, Боже! Что же будет со мною дальше? Укрепи меня, Господи! Я не знаю, что мне делать?

Сел на нары, стал думать. Заметил на полу кусок доски, поднял его, прикрыл парашу. Открыл форточку, давая возможность весеннему воздуху проникнуть в затхлое помещение. В углу стояла метла, Павел смел окурки с нар, подмел пол, постоял над пьяницей, пришел к выводу, что без воды его не очистишь. Стукнул в двери. Молчание. Постучал еще. Послышались шаги, открылась кормушка.

- Чего тебе? - грубо спросил давешний милиционер,

- Да вот, обмыть бы пьяницу - воды мне.

- Ишь ты, чего захотел - воды ему! Подождешь до утра, на opravке получишь воду. Тихо сидеть! Кормушка захлопнулась. Павел вернулся на нары, стал слушать биение собственного сердца. Но, видимо, наверху происходили свои события, связанные с требованием Павла, - вновь застучали сапоги по ступеням лестницы, дверь распахнулась. Милиционер брезгливо оглядел пьяницу, пнул неподвижное тело носком сапога - алкоголик не шевельнулся, лишь пробурчал нечто невразумительное и перевернулся на другой бок.

- Ишь ты, - подивился такому беспамятству милиционер, сплюнул в сердцах и выругался: - Животное! Утром сам уберет. А ты... Ты переходи в другую камеру.

На новом месте было, правда, не лучше, но хоть блевотиной не воняло. Тут уже находилось несколько человек, игравших в незнакомую Павлу игру, материалом для которой служили слепленные кусочки хлеба.

Дышалось здесь чуточку легче, сокамерники тотчас окружили Павла, засыпали его вопросами, он заметно оживился. Ночь прошла спокойно.

Зычный голос милиционера позвал всех на утреннюю opravку. Роздали пайки черного хлеба, не забыли и селедку. Павел ни к чему не мог притронуться, ему все еще казалось, что происходящее с ним - чья-то шутка, сейчас шутники опомнятся и с извинениями выпустят на волю.

- Владыкин!

Павел встрепенулся. Милиционер повел его в знакомый кабинет начальника. Здесь он увидел плачущую мать.

- Павлушка, сыночек мой! - кинулась к нему Луша, - аль били тебя: гляди как осунулся, аж синяки под глазами.

Павел поспешил ее успокоить:

- Маманя, слава Богу, никто и пальцем не тронул. Просто... я сильно переволновался...

Тут он взглянул на ликующее лицо начальника и, не желая давать ему повод для самообольщения, добавил:

- За тебя, маманя, переволновался.

Начальник скис. Кивнул на торбу с вещами, очевидно, принесенный матерью, сказал:

- Это вот ты заберешь с собой, тебе у нас долгонько придется пожить. Вы пока побеседуйте тут

вдвоем, а я пойду - некогда мне.

- Ну, как ты тут, сыночек? - набросилась с вопросами Луша, как только за начальником закрылась дверь. - Не оробел, часом?

- Нет, мама! Конечно, сразу все в моей душе будто замерло, сижу и ничего не соображаю. Сроду ведь не видывал такого. Господь утешил - не за преступление же я здесь, видно, Господь такую судьбу уготовил мне. А дома-то как?

- Да лучше не рассказывать, - сникла Луша. - Только тебя взяли, через час и за мной явились, Прямо на заводе взяли, привезли домой, ну и стали рыться во всем доме. Книги твои листали, чего-то взяли, а уж чего, я и не помню. Но ты, сыночек, не о нас думай - с отцом да матерью век не проживешь, а с Богом тебе везде рай будет. Вспомни Иосифа [2]: какие только мытарства не выпадали на его долю, а все перенес - и предательство братьев, и женское обозление и тюрьму... А вот Бог с ним был повсюду и сделал его правой рукой у царя. Я и сама готова бы вместо тебя в тюрьму отправиться, да вот, сынок, каждому свой крест Спаситель дает. Не напрасно сказано: "кто душу свою погубит ради меня и Евангелия, тот сохранит ее". Держись, сынок. Бога не оставляй, будь верен ему до смерти...

Она помолчала, не сводя с сына встревоженных глаз, потом оживилась:

- И-и, сынок, а что про тебя бают-то в народе - не передать! Гудит народ, ох - гудит! Все слова твои, что в клубе говорил, вспоминают... Да-а, трудно тебе придется, но истину не оставляй, защищай ее. Молись и ничего не бойся.

Так, без единой слезинки, утешала мать сына своего, благословляя его на страдания.

Наговорившись досыта, преклонили колени, помолились Богу. Павел вслушивался в слова матери, обращенные к Спасителю - она благодарила Бога за то, что Он призвал Павла к покаянию, дал ему христианское смирение, просила не оставить в самые тяжкие минуты испытаний.

Начальник, вернувшись через продолжительное время, поразился тому спокойствию, с каким мать напутствовала сына, отправлявшегося в узы. На лице матери написано было не горе, к чему давно уже стало равнодушным сердце начальника, а радость и терпение.

Да, радостно благословляла мать сына своего, не далее как с месяц тому назад решившегося отдать свое сердце и всю юность свою Господу.

Павла перевели в городскую тюрьму. Сопровождающий вынул револьвер, грозным голосом предупредил, чтобы не останавливался, не оглядывался по сторонам, не ступал ни шагу ни налево, ни направо, иначе... Тут он еще более свирепо взмахнул оружием, и они тронулись в путь. Надо ли говорить о том, что Павел тут же пренебрег всеми наставлениями - кроме, разумеется, шагов влево или вправо: с легкой улыбкой он шествовал по улицам, подставлял лицо весенним лучам солнца, радостно разглядывал окружающих, каждое здание, кустик, переулочек будили в нем давешние переживания - все напоминало ему отроческие годы. На этих улицах расцветала весна его юности. В этом городке формировались его убеждения, здесь он впервые открыл для себя Слово Истины.

Встречные, а среди них попадались и знакомые, с удивлением оглядывались на арестованного, идущего со стражей в городскую тюрьму, а одна из его бывших сотрудниц просто остолбенела, завидев обнаженный револьвер, упирающийся в спину Павлу. Он сделал такое заключение из этих мимолетных встреч и взоров: отныне имя его сопряжено у обывателей с понятием ужаса и злодейства, в то же время он впервые осознал, как велика любовь матери, не только не устыдившейся его положения, но и его призывавшая к отказу от стыда.

Вот последняя улочка. Вдали мрачно нахмурилось невыразительное тюремное здание. По этой улочке Павел ходил в школу и на собрания, здесь ему знакома каждая тумба на тротуаре, каждая лавка у ворот и даже во-он тот сиреневый куст, который уже сейчас кажется готов распусться нежным фиолетовым цветом. Мелькнула серебристая ленточка реки, высоко взметнулась к небу православная церковь...

Вот и ворота тюрьмы. Шесть лет назад он, помнится, совал в щелочку деньги отцу, а здесь в отгороженном барьером углу комендатуры он передавал родителю горшок сваренной картошки.

Но вот и пришли! Кончились воспоминания.

- Разденься! - равнодушно приказал тюремщик. Одежду тщательно осмотрели, прощупали все складочки, описали, швырнули в сторону, велели надеть то, что принес в торбе, домашнее.

- Пошел!

Вот и тюремный двор. В окнах замелькали лица арестантов, выпорхнули платочки женщин, одна из них, бесстыдно обнажив груди, завопила:

- Приветик, мой милый! Сюда его, к нам его!

Из других окон слышались крики:

- Откуда, парень? За что? Сколько дали? Махорка есть?..

Из-за угла показался тюремный страж в серой шинели, с винтовкой за плечами - меряя шагами расстояние от стены до стены, он молча прошел мимо, лишь скользнув взглядом по фигуре нового страдальца.

Тюремная церковь, покосившаяся, с бурыми пятнами осыпавшейся штукатурки высилась за камерами для арестантов. У креста успели обломать перекладину. В пробоинах купола гнездились сизари и вороны. Тюремные головотяпы пристроили рядом уборную, оттуда доносился отвратительный запах. Павел отвернулся, вздохнул; только теперь до его сознания совершенно отчетливо дошло - его арест не ошибка и не случайность, отныне ему предстоит жизнь в этом кошмаре.

К его удивлению, камера оказалась довольно опрятной: параша была закрыта, бачок с водой на отведенном месте, одинарные нары так отполировали бока бесчисленных обитателей, что в них можно было смотреться, как в зеркало. И встретили Павла радушно, один из арестантов тут же снял с его плеча торбу и, кинув ее на свободное место, сказал:

- Здорово, паренек! Вот тебе место. Ничего не бойся, у нас тебя никто не обидит.

Павел растерянно поблагодарил доброхота, подошел к указанному месту и преклонил колени. Занятые своим делом, обитатели камеры поначалу не обратили внимания на страстный шепот новенького, потом прислушались.

С большим усилием подавив в себе волнение, Павел допустил дух молитвы в свое сердце. Он просил Господа о том, чтобы научил его, как вести себя среди этого общества и укрепил его.

Просил, чтобы Бог послал ему мудрость в ответах, которые надлежало бы дать начальству и судьям, чтобы утешил Господь и сохранил мать с отцом, оставшихся на воле.

Поднявшись с колен и заметив удивленные взгляды своих новых товарищей, Павел тотчас же откликнулся на безмолвные вопросы, родившиеся в душе несчастных, и стал свидетельствовать им о Господе, о Его Великом Евангельском учении. Нельзя сказать, чтобы слова Писания, которые многие услышали впервые, сильно поколебали их сердца, но всех поразило умение рассуждать такого молодого человека, каким был Павел. Посыпались вопросы, Павел отвечал каждому, вскоре прекратилась отвратительная брань, перестали дымить вонючей махоркой. Спустя несколько дней Павел завоевал всеобщее уважение.

Наконец, потребовали к следователю. По дороге Павел пытался представить будущую беседу, в памяти один за другим пробежали предполагаемые вопросы, особенно опасался он возможных побоев, о которых сразу же предупредили его сокамерники, дух его ослабел.

- Ну как, Владыкин? - встретил его следователь.

Он сидел в окружении группы мужчин разного возраста и положения: некоторые из них были одеты в форму, иные в штатском, но все важные, насупленные и грозные. - Подумал ты о своем будущем? Представляешь ли ты, куда приведет тебя твой Иисус?

- И откуда ты только выкопал эти стариковские бредни? Брезгливо спросил самый молодой из мужчин. - Неужели ты веришь в какого-то Иисусика?

Брезгливый тон, надменная гримаса и в особенности пренебрежительное произнесение имени Того, кому Павел отдал свое сердце, возмутили дух:

- Уважаемый начальник! Вы прожили немало, судя по вашему возрасту давно состоите в ВКП(б) [3] и поэтому вам станет понятно, что если бы я унизил вашего вождя Ленина так, как это сделал

сейчас ваш коллега с моим Учителем, вы бы не стерпели и отомстили мне. Я же лишен этой возможности, ибо нахожусь в вашей власти. Это первое. Теперь второе. Вы назвали истину Божию и учение Христа стариковской глупостью. Так стоит ли вам из-за подобной глупости арестовывать и запирает в тюрьму какого-то двадцатилетнего мальчишку, бросать свою работу, выходить из кабинетов и собираться вот здесь вместе, целым гуртом, а вы, я вижу, прибыли издалека, чтобы указать мне на это? Мне кажется, что за глупостью так ревностно не гоняются.

Сидящие переглянулись, но следователь постучал карандашиком о стол, как бы предупреждая: помолчите, послушаем еще.

- Мы все думаем о своем будущем: и верующие и безбожники. С той лишь разницей, что верующие уже сейчас знают - им уготовано то, что дает Христос, они живут надеждой и вера охраняет их. Для истинного христианина даже смерть не является потерей, а приобретением этой будущности. Для безбожников же смерть - это бездонная яма, в которой таится мрак абсолютной неизвестности. Что же касается того места, куда приведет меня Иисус, отвечу так: пока что мой Иисус только вывел меня из тьмы греха и порока. А вот куда вы завезли меня, взяв из завода? Подумайте над этим сами.

Павел говорил спокойно и ровно, слова как бы сами, без его душевных усилий, слетали с уст, держался он с великим достоинством.

- Владыкин, - после паузы вступил в разговор еще один из присутствующих. - Только что вы, говоря о Ленине, выразились так: "ваш вождь". Разве Ленин не является и вашим вождем тоже?

Павел улыбнулся наивности вопроса:

- Все вы прекрасно знаете моего Вождя Спасения и свой вопрос задаете с единственной целью: нельзя ли на моем ответе построить политическое обвинение. Знайте же: я не боюсь этого и поэтому на ваш вопрос даю такой ответ, который, впрочем, может прозвучать и вопросом тоже: "Может ли на пути в Небесное Царство и на путях земного благополучия быть один и тот же вождь?" Конечно, нет. Для себя я уже избрал Вождя - Иисуса Христа.

- Боюсь, Владыкин, что со временем, когда подрастешь и поумнеешь, ты одумаешься и оставишь своего Вождя, а изберешь настоящего. Не может случиться так?

- Может...

По настороженному молчанию Павел догадался, что от его ответа зависит переменчивость в отношении к нему как подследственному.

- ...если этот вождь родится так, как Иисус - от девы, свершит перед людьми столько же чудес, сколько их совершил Иисус, полюбит падшего, погибшего человека и умрет за него, и воскреснет, и вознесется, как Христос, то я, попав в беду, воскликну уже не: "Господи!", а назову имя другого избранного мной Вождя, лучшего, чем Иисус Христос, вот тогда... - Владыкин, вмешался самый пожилой из допрашивавших, - я смотрю на тебя, слушаю твои речи и должен откровенно признать - ты, бесспорно, умный малый. Ты не по годам развит, с производства тебе дали хорошую характеристику, я уверен, что ты честный. Честный, но... преступник. Да, преступник! Преступник против своего же развития, против своей грамотности, даже против своего светлого будущего. Но почему? Почему я называю тебя преступником? А вот почему. Я хорошо знаком с христианскими доктринами, по сути они близки и нам, материалистам: вы за честный труд, за верность в браке, за трезвость, вы осуждаете эксплуататоров, любите ближних своих и так далее. Мы разделяем ваши требования. Так зачем же тебе нужна вера в нечто мистическое, вера в духовное? Зачем, ради чего ты подвергаешь себя таким неприятностям? Разве ты не можешь быть передовым молодым человеком, полезным нашему обществу? Да ты уже такой. Пойми по сути мы делаем одно и то же - преобразовываем старое общество. И нам нужно очень немного - чтобы ты был с нами заодно. Брось ты свое увлечение духовным, мистическим. Ты же наш, современный человек! И если ты не хочешь быть нашим, тогда ты преступаешь наши законы, тогда ты преступник и прежде всего - враг самому себе. Откажись и я готов обнять тебя!

Он даже руки приготовил для объятий, в твердой уверенности, что Павел уже растаял и только ждет момента, чтобы его, как блудного, раскаявшегося сына приняли эти гонители христианства.

Силен сатана!

- Да, начальник, это так... вижу, что вы говорите от души, да душа-то у вас не примет Бога, потому и клонит к упорству против Него. Есть такой житейский пример, он как раз подходит к понятию о моей преступности. Два человека, молодой и старый, взялись работать на одном огороде - сажать картошку. Грядки у них были разные, разными были и семена. И вот они заспорили. Старший стал доказывать младшему, что его семена лучше, грядки аккуратнее и у него выйдет хороший урожай, в то время как у его напарника роскошной будет только ботва. Молодой не прекословил, лишь заметил кротко: "Посмотрим осенью". Старший рассердился и давай дубасить младшего. Сбежались люди, спросили: в чем дело? И тогда старший, не дав открыть рта своему напарнику, возвел на него напраслину. Какова же у него честность? Так и вы: привели меня сюда под дулом револьвера и хотите тем самым доказать правдивость своих идей, да и меня склоняете стать вашим учеником. Нет, начальник, - вы сумеете победить меня так, как победил Христос, тогда я и сделаюсь вашим учеником. Но поскольку вы на это не способны, то я всегда буду казаться вам преступником.

Тут все заговорили, перебивая друг друга, взоры их метали гневные молнии в сторону Павла, самые нетерпеливые выскочили из кабинета, брызжа слюной, и скоро Павел остался наедине со следователем.

И снова Павел ощутил в себе непомерную силу, дающую ему власть над гонителями и власть эта выше его сил и его понимания, она - оттуда и она неисчерпаема. Он приободрился весьма заметно.

Следователь же будто невзначай открыл ящик стола, вынул оттуда револьвер, будто играя, направил его на Павла, прицелился... щелкнул курком - Павел не шелохнулся, он смотрел прямо в глаза истязателю и лишь внутренне напрягся, однако незаметно для постороннего взгляда. Следователь с досадой отбросил оружие.

- Владыкин, на тебя поступило одно свидетельское показание, - подняв какую-то бумажку, буркнул он. - Будто бы ты, рассуждая с одним человеком о "П"-образных опорах для электросетей, выразился в том духе, что мол, случись неустойка с большевиками, ты их всех перевешаешь на этих перекладинах. Верно ли это?

- Начальник,... виноват: гражданин начальник - вы оказались весьма способны на то, чтобы собирать всякую грязную ложь обо мне. Допустите, что подобную нелепицу я бы сказал про вас. Так что же вы, со своим револьвером, которым только что хотели напугать меня, не расправились бы тотчас с двадцатилетним парнишкой? Не думаю. К тому же, всего три недели тому назад Владыкин выступал в клубе с речью о коммунистическом воспитании молодежи. Как можно оправдать такое противоречие?

Следователь встал.

- Ладно, Владыкин, - хватит на сегодня. Иди в камеру. По правде сказать, мне по душе твоя прямота и откровенность... ты мне даже... нравишься. Ну да ладно, там посмотрим...

На обратном пути Павел ничего не чувствовал, кроме благодарности в душе Господу и весь переполнялся жадой хвалы за те чудесные откровения, которые произошли в его сердце. Он готов был припасть к стопам Господним прямо тут же, на тюремном дворе. Он готов был расплакаться в приступе благоговейной благодарности. Он сиял.

Ему вспомнились эпизоды из произведения Сенкевича [4] "Камо грядеши". Он читал и другие, подобные книги, в которых рассказывается о мучениях первых христиан, о смерти их на кострах, в пасти разъяренных зверей на цирковых аренах, в подземельях "святой инквизиции". Вспоминал и удивлялся: откуда эти простые люди черпали силу? Что придавало им уверенности в том, что в мученической смерти за Христа содержится высшая истина? Кто питал их стойкое сопротивление гонителям? Помнится, в свое время у него роились сомнения: не литературный ли вымысел перед ним? Как это можно улыбаться собственной смерти? Теперь он знал: велико чувство радости в страданиях за Христа, Сам Бог посылает Духа Святого защитнику истины. Воистину сильны слова Иисуса Христа: "И не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас" (Мф, 10:20).

В камере его встретили скорбные, унылые лица. Да и могут ли узники испытывать иные чувства, кроме горечи, безнадежности, страха? Поэтому, увидев сияющую улыбку на лице Павла, к нему бросились с расспросами:

- Отпустили? На волю!? Неужто свобода? Расскажи!

С душевным подъемом Павел подробно пересказал суть беседы со следователем, буквально повторил вопросы и ответы и, мысленно возвращаясь в тот кабинет, вновь испытал необыкновенную радость.

В своем мнении почти все арестанты были единодушны: Павла должны отпустить. Лишь один из сокамерников Павла мужчина хмурый и неразговорчивый, не открывший никому из своих товарищей по несчастью ни души ни сердца, но частенько поправлявший Павла краткими советами, получивший прозвище "Бродяга" из-за тех лохмотьев, которые были надеты прямо на голое тело, мрачно процедил сквозь зубы:

- Скорее нас, закоренелых преступников, распустят по домам, чем выпустят этого невинного юношу.

Павел вздрогнул, мрачное предсказание охладило радость:

- Почему вы так думаете?

- Да потому что для наших хозяев такие, как ты, опаснее всего. Что такое мы? Сорняк на дороге в светлое будущее. Не вырвешь летом, осенью он сам засохнет. В тебе же сокрыта сила новой жизни. Она, как виноградная лоза: осенью срежешь, весной жди новых, еще более сильных побегов, выкорчуеть остатки корня проклюнутся в другом месте.

Павел сидел нахмурившись. Бродяга, видимо, решил, что переборщил:

- Жаль мне тебя, прости... Но не отпустят тебя, парень, не для того сажали. Много предстоит пострадать тебе, много. Большая борьба ожидает тебя впереди, большая. Если ты, конечно, не оставишь своей веры, не отклонишься от своего учения. Сумеешь выстоять - счастлив будешь сам и другим путь к счастью укажешь, не выдержишь - умрешь с позором.

Впервые узники слышали столь длинную речь из уст Бродяги.

- Счастье, мой милый, есть в жизни, есть. Но не дается оно в руки запросто, нужно многое потерять, чтобы достичь его и жить им. Ты встал на правильный путь, смотри - не сбивайся с него, не сбивайся, да. Если уж ты в постылой тюрьме сумел загореться огнем веры, то не бойся - куда бы не загнали, твой свет будет с тобой, с тобой, да. Иди и свети миру!

Бродяга смолк так же внезапно, как и начал свою назидательную речь. Испещренное глубокими морщинами лицо его свидетельствовало о давней, пережитой им с величайшим трудом, муке, жизненной катастрофе. Видимо, в свое время сильные, страстные, непомерные чувства владели им безраздельно, пока не порвали тончайшие связи с этим миром. Ссутулясь, вернулся он на свое место на нарах и погрузился в тяжкую, безнадежную думу.

После его слов примолкла и камера. Тосковал и Павел.

...И пролетели в его памяти те времена, когда семья распалась после ареста отца, пролетели вагоны с арестантами, пролетели архангельские дни и ночи. Теперь и сам он за тюремной решеткой, ходит по тюремному двору и нет-нет да и покажется ему, что войдут вот в камеру надзиратели и объявят, что сидит по ошибке. Воля!

Несбыточные мечты угасли вместе с последним лучом заходящего солнца. Тяжко вздохнул колокол, извещающая о наступлении ночи. Заснул Павел. Тишина нарушалась мерными шагами тюремного стража. Ночь. Сумрак. Тьма.

Между тем допросы продолжались. Следователь ярился, стучал по столу кулаком, швырял папки, в гневе выскакивал из кабинета и тут же возвращался, чтобы задать новый вопрос, чаще всего касающийся истоков Владыкинской веры. Уже в который раз Павел объяснял, что с детства полюбил Бога, ходил сначала с бабушкой в православную церковь, а потом, уже с родителями, в собрание баптистов. Следователю все казалось мало, он кричал, угрожал Павлу "засадить его на всю катушку", вынуждал к ложным показаниям, но Павел твердо стоял на своем: веры он не предаст, вымышленные же факты отвергал с удивительным спокойствием.

Наконец, следователь выдохся, устало попросил назвать некоторые фамилии из тех, кто вместе с Павлом посещал собрания. Павел не хотел ввязываться в свою историю никого из братства, но, поразмыслив, заключил, что в этом нет ничего худого, и указал двух-трех братьев.

Спустя несколько лет Павел случайно узнал, что все они были тут же арестованы. Но в то время следователь и ухом не повел, услышав имена, лишь переменял отношение: вдруг чаю предложил, подсел поближе и по-свойски предложил рассказать, чем занимались в общине названные им души, где жили, как работали. Добродушный тон заронил в сердце Павла сомнения: тут что-то не так. И хотя многого о жизни этих братьев Павел и не знал, да и что за секреты могли быть у тех, кто открыто служил в собрании, но все же внутренний голос подсказывал ему осторожность. Казалось бы, что греховного сделал Иуда всего лишь подошел к Учителю и поцеловал Его, а вот оказался же предателем. Нет, и ему нельзя откровенничать с внешним.

- Что ж ты замолчал? - помешивая чай и тонко позвякивая ложечкой, спросил следователь. Он сидел в уголке дивана, по-домашнему закинув ногу за ногу, вид у него был скорее утомленный, нежели грозный. - Имена назвал, а чем они занимаются - таишь. Понимаю - не хочешь прослыть предателем? Не бойся - отсюда ни одно слово не выпорхнет. К тому же мы и сами все раз узнаем, так что зря упрямишься...

Тут он как-то искоса взглянул на Павла, тому даже почудился хищный огонек, мелькнувший и тут же пропавший, но такой страшный, что Павел невольно поежился.

- Да что я там знаю... Был маленький, когда ходил на собрания, уже не помню ничего...

- Ну-у, - разочарованно протянул следователь, - не похоже это на тебя, Владыкин. То ты выступаешь как профессор философии, то вдруг невинным юнцом прикидываешься. Так не пойдет. Или ты думаешь, что мы не знаем о прежнем доме, где вы проводили собрания? Знаем. Знаем и то, что баптисты собираются по домам тайно, и отец твой бывает на этих собраниях - все знаем. Но ты должен помочь следствию, ты должен указать адреса, тем самым и свою участь облегчишь.

Он так льстиво улыбнулся вдруг, что еле брезжившее в душе Павла желание не предавать христиан, сразу приобрело форму законченной мысли: ни одного имени больше не называть, стоять на своем.

- Адресов не знаю, имен не помню.

- Ах ты вот как! - взревел следователь и кинулся к Павлу с явным намерением вцепиться ему в волосы, но тут дверь кабинета открылась, следователя позвали.

Павел перевел дух. Если бы кто-нибудь попробовал описать сцены допроса, то наверное, он указал бы на признаки явной духовной борьбы двух представителей рода человеческого, один из которых, с посережшим, точно безводная почва, лицом, с клочками волос, торчавшими в разные стороны с угрозами нападает на другого, спокойно вззирающего умными, темными глазами на бесплодные попытки сатанинской силы сокрушить дух христианина. Вернулся следователь еще более взвинченным.

- Будешь отвечать? Или я тебе... Ух!

- Конечно, буду, - ответил молодой человек. - Смотрю на вас и думаю: до какой степени может измельчать честный большевик, если вы честный, чтобы допускать подобные нападки, выживать адреса, грозить всяческими карами... Трудно поверить, трудно. Но это так! Но ведь вы отлично должны знать, что только правосудием утверждается любой престол, тем более отвоєванный народной кровью у самодержавия. Что вы со мной сделали только за имя Иисуса? Оторвали от семьи, отчислили из университета, бросили в тюремные застенки и здесь, не находя никакого мало-мальски приличного повода для обвинений, бесчестно приписываете мне небылицы, о которых я ничего не знаю. Если вы не сумели убедить меня в высокой духовной нравственности примером действительности, то какой пример морально чистого человека подаете лично вы? Два года я наблюдал за страданиями моего безвинного отца и его единовѣрцев и поначалу считал это ошибкой частных лиц. Но теперь, на своем опыте, я убеждаюсь в жесточайшей несправедливости общества, которое по большей части и состоит из таких, как вы.

Следователь закашлялся, вдохнув воздуха, хотел сказать что-то гневное, но приступ кашля надолго прервал его угрозы. Наконец, отдышавшись, зло бросил:

- Много ты обо мне знаешь! Я член партии большевиков, вступил еще до революции, за свою идею сидел в царских тюрьмах, здоровьем заплатил, как видишь, - чахотку нажил. Тебе надо пожить, Владыкин, чтобы иметь суждение о большевиках и обществе, которое мы строим.

- Конечно, я молод, многого не знаю, но различать подлость от честности научился рано. И вот не могу понять одного: как получилось, что тюрьмы остались прежние, и чахотка в них та самая, и вы знаете ужасы допра, тем не менее, засадили меня только за то, что я люблю Иисуса Христа? Не укладывается в голове, чем я вреден обществу?

Следователь сложил бумаги, давая понять, что разговор закончен:

- Ладно, Владыкин, вижу, мы не договоримся. Сейчас я позову твоих товарищей по производству, пусть и они побеседуют с тобой.

Он вышел. Павел усердно помолился Богу, вознеся Ему сердечную благодарность за дарованную стойкость, твердость духа и мужество. Особенно молился Павел за то, чтобы Господь и впредь удалял из его сердца страх перед обвинителями.

Пришли парторг и начальник производственного отдела. Лица у них были испуганны. Неловко озираясь, они с опаской присели на краешек диванчика, очевидно, ожидая от Владыкина какой-то выходки. Павел же встретил их с улыбкой. Пришедшие оживились, шепотом признались - на ту минуту следователя не было в кабинете - что им здорово влетело за него, по партийной линии им влепили выговор за то, что не сумели вовремя распознать в нем этот религиозный дух и не остановили его. Больше всего же досталось им за разрешение выступать в клубе с пропагандой своих убеждений. Виноватились: вызывали-то их для свидетельства против него, Павла, но они откровенно признались, что не находят в себе сил идти против совести. Одним словом, вышло так, что в коллективе ничего не знали о веровании Павла, и его выступление в клубе для всех оказалось неожиданностью.

Правда, начальник отдела все же попытался как-то повлиять на Павла, заметив соболезнующе:

- Мне досталось больше всех. Я принял тебя на работу, ты был у меня на виду... да что там, я и теперь скажу, что ты отличный парень, хороший работник. Но жалко мне тебя. Пропадешь ведь. Оставь ты свою веру, возвращайся в отдел, работы полно, будем вместе... Вот и крестный твой, Никита Иванович перед смертью просил: "Передайте Павлу, чтобы он, не обдумав дела, не совался за него в пекло, уж коль убедится в правоте, тогда только пусть идет с правдой, с ней и в огне не сгорит!".

Павел слушал их, улыбаясь.

- Иван Григорьевич! Да ведь ты знаешь меня с пеленок. И отца моего и мать мою знаешь, и честность Никиты Ивановича тебе известна. Как же ты можешь так: в газете, в выступлениях на собрании коллектива, да и здесь в протоколе с твоих же слов записано, что я - пережиток капитализма, классовый враг, что я прокрался - именно "прокрался" в коллектив, а теперь хочешь убедить меня в твоей искренности и чистосердечности? Какая же цена твоей чистосердечности? Ну, предположим, я и отрекись от веры и вернусь обратно, что же ты тогда обо мне будешь говорить? И главное - как мы будем выглядеть в глазах у народа? Вот и крестный, доброй памяти, говорил о правде, с которой и в огне не сгорит! Вот это отцовский наказ. А тебе, случаем, не следователь поручил разубедить меня?

Парторг как воды в рот набрала. Начальник отдела встал:

- Ладно, Павел, может и не свидимся более в жизни, но ты зла на меня не держи. Я тебя люблю, потому что ты счастливее меня, а почему - ты поймешь после.

Тут вошел следователь, Павла отвели в камеру, а заводские "товарищи" еще о чем-то долго говорили за плотно притворенными дверями.

Павел не знал, что в ту минуту, когда его вывели черным ходом из комнаты допросов и повели в тюрьму, в том же здании оказалась и мать его. Луша чуть ли не лицом к лицу столкнулась с заводскими.

- Ну, Владыкина, - жестом приглашая Лушу сесть, начал следователь, - мы пригласили тебя для допроса по делу твоего сына, Владыкина Павла. Показания твои должны быть честными, правдивыми, говори без утайки - от твоих слов будет зависеть и судьба твоего сына.

Луша прослезилась:

- Я уж все давно поняла, начальник, еще когда мужа забирали, теперь вот дитя отняли. На все скажу только одно: я ему мать, вот и весь сказ.

Следователь изумился:

- Да-к ты что, и протокола не подпишешь? Да ты знаешь...

- Знаю, начальник, знаю: черёд только за мной и остался. Подумали б сами - а за что?

- За что - это дело судьбы, а сейчас - говори!

- Да я уж сказала: мать я ему, чего ж добавить?

- Лукерья Ивановна, а сколько вы классов закончили?

- Полторы зимы ходила в церковно-приходскую школу, после Рождества мать моя бросила букварь в загадку (пространство между стеной и печью) и сказала: хватит! Буквы научилась различать и все, вон Полюшку некому нянчить, пояснила Луша.

- Гм... неграмотная баба, а как сумела воспитать сыночка: не знаешь с какой стороны и подступиться к нему.

- А что он: обругал вас, или ответил гордо? Может, сделал что не так, аль в чем ином провинился?

- Да нет, - с досадой процедил следователь, - отвечает он не гордо, он вежливый и делать ничего такого особого не делал, да у него ж на все готовый ответ имеется. Как ты сумела воспитать такого? - уже с чисто человеческим интересом спросил следователь.

- Начальник! Да в ваших же школах он и учился, все ваши книги по ночам читал, ваши его и хвалили, да поднимали выше и выше. Я что - я неграмотная, эдак-то вы его воспитали, с ним и толкуйте.

Луша ответила довольно независимо и вновь привела своего собеседника в волнение:

- Хватит с нас нравочений! Иди домой! Видно, правду говорят: яблоко от яблони недалеко падает. Какая мать, таков и сыночек.

Тем и кончилось. Павлу через несколько дней объявили:

- Следствие по твоему делу, Владыкин, закончилось... из-за недостатка доказательств твоей виновности суд не принимает дело в производство. Но... Но! - тут следователь многозначительно поднял указательный палец. - Учитывая твоё влияние на общество, и в особенности на молодое поколение, учитывая опасность твоих... несовременных идей... на волю мы тебя не отпустим. Мы загоним тебя туда, куда Макар телят не гонял. А там из твоей головы живо выбьют этот опиум.

Помни: мы с тобой не расстанемся, пока ты не расстанешься со своим Иисусом. Понял?

- Понял, начальник. На это заявление у меня есть только один ответ: "Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом" (Пр. Сол. 19:21). Так говорит Святая Библия. Простите меня, что я отнял у вас столько времени, защищая истину. И все ж таки один раз нам придется еще с вами встретиться, только не на моем суде, а на вашем перед судом Божиим. Если, разумеется, вы к тому времени тоже не покаетесь и не станете христианином.

Возвращаясь в камеру, Павел чувствовал себя как Давид после сражения с Голиафом. Но, переступая порог камеры, он увидел не ликующие толпы, а те же серые лица арестантов, среди которых началась его жизнь, и неизвестно сколько будет продолжаться. Да, с каждым днем он убеждался: борьба только начинается и кто скажет ему, с какими противниками придется схлестнуться, какие опасности преодолеть и как выдержать несносную муку одиночества.

Одиночества? Павел улыбнулся: нет, с ним его Бог!

То, что следствие закончилось, даже слегка огорчило Павла: отныне ему не придется вступать в сражения со следователем, в которых он свидетельствовал о Господе. Но значит, будут другие обвинители? Что ж, он должен не терять присутствия духа.

Тех арестантов, у которых следствие подошло к концу, из нижней камеры переводили наверх, в ожидании этапа. Павел даже был рад этому: опостылела ему и камера, и тюремный двор, и лица

конвоиров, их окрики и тычки. Вместе с ним "подняли" и Бродягу - Павел обрадовался ему, как родному. И еще маленькая радость - вместо нар тут оказались кровати. Из двух широких окон открывался чудесный вид, Павел надолго прилип к решетке, жадно вдыхая свежий ветер с воли. Присмотревшись, узнал дом Максима Федоровича Громова, в котором протекали его детские годы, узнал тенистый сад, из чащи которого он наблюдал за арестантами, когда они перелезали через тюремную стену, надеясь на краткую побывку и свидание с семьей. Может, из этого самого окна выглядывал и Рябой Серега, отвечая на приветствия отца? Может, и он также любовался речкой, синеющей вдали - речкой, воды которой впервые подхватили щупленькое тельце маленького Павлушки и вынесли на широкий простор, научив барахтаться в реке и плыть в жизни. Павел проследил взглядом извилистую ниточку реки и уперся в дальнюю церквушку с непомерно высокой колокольней - помнится, звон у этих колоколов отличался необыкновенной бархатистостью.

С реки кривоногие возчики, шагая рядом с телегами, груженными голубыми кубиками льда, голосисто понукали лошадей, их возгласы: "Н-но, родимая!" далеко разлетались в весеннем воздухе. Стайки воробьев дрались на размякшей дороге, уцелевшие, ноздреватые сугробы влажно синели у подножия тюремной стены. Да что говорить - одно слово - воля!

Сегодня Павлу исполнился 21 год. Помнится, в день рождения бабушка непременно пекла пахучие лепешки, которые он ел, макая в конопляное масло. Любила бабушка внука, ох, любила! Знает ли она, что внучек ее, вместо крепкой жилистой руки ее, обнимает холодную решетку, так грубо разделившую его жизнь с привычным семейным укладом Владыкиных?

Сам не замечая, Павел часто-часто заморгал ресницами, сгоняя слезу.

- Да ты оглох, что ли! - Бродяга толкнул его в плечо. Тебя на свидание вызывают.

В дежурке толпились люди, пахло вареной картошкой, жареным луком, ванилью от пышек и сырой овчиной деревенских полушубков.

- Родимец ты мой! - услышал он знакомый вопль. Пригляделся: никак Катерина. - Дитячко ты мое!

Павел не успел опомниться, как бабушка, обвисла на нем, и он ощутил такой знакомый, пахучий, домашний запах... тех самых лепешек с конопляным маслом. Не забыли!

С Катериной пришла и мать, меж ее коленок таращилась младшая сестренка, старательно обсасывая палец. Павел радостно расцеловал всех.

- Как велика милость Божия ко мне и Его любовь, - расчувствованно говорил он, разглядывая сияющими глазами родных, ощущая их тепло и, конечно же, пробуя горячие лепешки.

- Я тебе, сыночек, все обскажу, во-первых, о заводе. Как тебя заарестовали, уж такого я наслушалась о тебе... позор, страшно сказать! Ну, это начальство в основном, да еще некоторые, несамостоятельные в основном. А народ за тебя, Павлуша, за тебя. По городу прохода не дают, как только узнали, что я мать твоя. И все подходят, утешают, а сами дивятся: как, мол, такой молодой да грамотный, а уж такой божественный?

Луша всплакнула, потом спохватилась:

- А в газетах позорят! Пишут, что только им вздумается. Да ты, сынок, на них не обращай внимания, крепись - Бог правду Сам защитит!

- Ты-то как? - еле успевал вставлять Павел.

- Да так. Из цеха турнули. То хвалили-хвалили, везде я у них передовая мастерица, а тут - бац, да с завода долой! Я уж и уборщицей просилась - да куда там! И близко к заводу не подпускают.

- Ну и как же ты?

- Да так вот, по богатым людям хожу, стираю кому... А хлеб-то без карточек дают и то Слава Богу! Между тем надзиратель, расхаживавший между родственниками и арестантами, уже несколько раз замедлял шаги, поровнявшись с Владыкиными. Последние слова Луши его точно пришили к месту:

- Да что ты говоришь-то? С ума сошла: сын в тюрьме, а она радуется! Бабка, - обратился он к Катерине, - вразуми ты ее. Парня надо на добрый путь наставить, ведь ни за что пропадает, да и я вижу - неиспорченный он, не злодей какой-то, а сидит за веру, точно разбойник, что ж за вера

такая, для чего, ради кого?

- А ради Христа, сыночек, - миролюбиво ответила Катерина. - Плачу я не от жалости, родимец, от горя-то я уж все слезы выплакала, а от радости плачу, от радости, что мой внучек так любит Бога, что жизнь свою не щадит, кару принял за Спасителя. Вот когда он по вашим клубам да лекциям шлялся, тогда я за него молилась; Бог услышал, как услышал в младенчестве его, как он хворал да при смерти находился. Вот я на коленях его у Бога и вымолила, так чего ж теперь горевать, что на Божий путь встал юноша. Я спокойная, Я знаю - Бог сохранит его везде.

Она помолчала, надзиратель отходил, желая услышать еще нечто.

- А насчет тюрьмы... Я тебе скажу, родимец, да ты и сам чай знаешь, нешто тут одни разбойники сидят? И-и, милай - а сколько в ней царей сидело да князей, апостолов и святых людей. Господи, да и Сам-то Он на кресте висел рядом с разбойниками... Вот то-то и оно, родимец, что ж ты внучка моего жалеешь? Путь у него истинный, не мешай ему.

- Да жалко паренька, молоденький он.

- А что толку от меня, скажем, старой: чем Богу могу послужить?

Павел радовался всем сердцем, слушая разговоры и видя свидетельство матери своей и бабушки. Ни один проповедник до сих пор не мог принести ему такого ободрения и утешения, какое давали ему эти простые, неграмотные родные люди.

За разговорами Павел позабыл о картошке, спохватилась бабушка:

- Да ты ешь, ешь-то... Когда ноне дадут еще. Ешь, дитятко...

Она погладила его по голове, как маленького, вздохнула:

- Ох, двадцать годков тому назад вымолила я тебя у Бога, на руках носила, за руки водила, а теперь и не угнаться за тобой. Зарок дала Господу, - вдруг зашептала она, - молиться за тебя доколь Он снова не приведет тебя на порог моей избы. Спаси тебя Христос!

- Молись и ты, сынок, - с целованием сказала мать. Она как-то неловко ткнула ему в плечо, зашарила руками, Павел почувствовал какой-то комочек, опущенный в карман и машинально повернулся к надзирателю другим боком... в камере он вытащил скомканную пятерку.

Сотоварищи окружили Павла, он щедро угостил их тем, что принесли родные, утолил интерес к новостям с воли. Конечно же, большую часть всего оставил для Бродяги. С этим человеком он сильно подружился.

Именно Бродяга раскрыл ему все тюремные секреты. Однажды Павлу передали сумку с передачей, надзиратель велел написать короткий ответ. Павел сходу выложил содержимое сумки на стол, торопясь черкнуть о себе пару слов, Бродяга же, не говоря ни слова, протянул руку к сумке и стал тщательно ощупывать все швы.

- Странно, - пробормотал он вполголоса, - почему это новую сумку обшили тряпкой. Тут что-то не так!

И точно: распоров уголок тряпки, он поддел пальцами нижний кончик обшивки и... вытащил крошечный, со спичечный коробок, сверточек. В нем оказалось миниатюрное издание Евангелия от Иоанна.

- Ну вот, парень, а ты бы отдал обратно... Мать у тебя хоть и неграмотная, но заметь какая предупредительная. - Ну-ка, поглянь - нет ли еще чего-нибудь?

Павел теперь уже сам надорвал тряпку, пошарил рукой вот! - он вытащил... красненькую.

- Тридцатка! - удовлетворенно заключил Бродяга. Быстро работая иголкой, он восстановил обшивку сумки.

- Попользовались... Хорошо надзор не заметил, а то и себе хапнул бы и матери неприятности. Тебе же надолго хватит тридцати рублей!

Павел был рад без памяти - не тридцатке, конечно же, нет: Евангелие, ведь Евангелие в его руках! Именно его он просил у Господа. Оно особенно дорого в жизни арестанта. Но знал ли Павел, каким образом Бог пошлет его? И главное - как во-время! Ведь тоска уже начала глотать Павла, духовный голод подкрадывался незаметно и уже заглядывал в уголки его сердца. Воистину чудесами Господь ободряет его!

Пришел обвинительный приговор: Владыкин признан опасным для общества из-за своих религиозных убеждений и подлежит лишению свободы сроком на пять лет с отбывкой в дальних лагерях. Суда, как водится в таких случаях, не было. Камера пришла в волнение: за что? За убеждения? Пять лет? Мальчику, которому пошел... Тут Павел поднимал палец и со значением поправлял сотоварищей: молодому человеку уже пошел 22 год!

На этап собрали так стремительно, что Павел ничего не успел сообщить на волю. Колонну погнали по улицам родного городка, но озирался Павел тщетно; ни одного знакомого или родственника он не увидел. Утешил себя тем, что думал об отце, которого вот так же пять лет назад вели по этой дороге и, как тогда с отцом, так и теперь с ним незримо рядом находился Господь. Он чувствовал Его близость и, прощаясь на окраине с городом, тихо произнес: "Ты изгоняешь меня, обрекая на гибель, но пройдут годы, Господь мой, на Которого я уповаю, возвратит меня и я вновь вступлю в него с победою и еще буду проповедовать в домах твоих о моем Иисусе".

Медленно, под окрики конвоя, удалялись они от города. Позади оставались родные улицы и дома, школа и библиотека, детство и семья...

Павел представил себе, что он шагает по следам своего отца - ведь и тот торил эту дорогу. И вагон, который подали для посадки, тоже был знакомым: точно в таком же увозили отца. Только одно различие: тогда вслед за вагоном, спотыкаясь на шпалах, бежал с заплаканным лицом мальчишка, теперь же он покидает город в одиночестве.

Павел стоял у окна до тех пор, пока городские очертания полностью не растворились во тьме, и на смену редким фонарям не выплыла мрачная чаща соснового бора. И тогда, отвернувшись от мрака, Павел молча сотворил молитву, а сотворив заплакал.

По этапу

Ранним утром вагон с зеками прибыл в Рязань. Всех построили в колонну и повели в местную тюрьму. Редкие прохожие, завидя унылую цепочку людей, окруженных конвоирами, старались поближе прижаться к стенам домов, а одна старушка испуганно перекрестилась и юркнула в ближайшую подворотню.

Тюрьма слепо - все окна были забраны козырьками вверх и сонно глядела на улицу. Конвойный стукнул в железные ворота, тотчас растворилось окошечко, в нем мелькнула рыжая морда охранника и с лязгом, скрежетом поползли в стороны створки ворот. Колонна арестантов втянулась под сводчатую арку, с тем же грохотом ворота за спиной затворились. Выходом из-под арки была избрана решетка с толстыми прутьями. Сквозь них можно было разглядеть еще более внушительное тюремное здание с такими же слепыми окошками. Павел слегка вздрогнул при виде такой сумрачной громадины, в которой ему предстояло томиться дальше. По углам здания высились массивные башни с узенькими - едва пролезет голова человека проемами, напоминающими скорее щели, чем окна. Кто-то из арестантов, уже побывавших в этой темнице, объяснил, что в этих башнях содержатся осужденные на смерть и те, которые приговорены к одиночке.

Колонну разбили на группы, развели по камерам. Бывалые арестанты тут же устроились на полу и безмятежно уснули. Павла держали в стороне с группой таких же арестантов, прибывших другим вагоном. Тут к нему подошли почтенного вида старичок со старушкой, одетые довольно прилично и слегка по старинке: старичок был в жилете, старушка в строгом длинном платье. Они поинтересовались у Павла: за что? Тот не таился. Пара дружно заохала, прослезилась и в свою очередь рассказала о своем горе. У соседа сгорел дом, их обвинили в умышленном поджоге из чувства мести: старик со старухой частенько ссорились с погорельцем. Тот нанял лжесвидетелей, суд не стал вникать в подробности и припаяли: старику пять лет, супруге - годик. Павел слушал их с сожалением: горе их казалось неутешным, Дождавшись паузы, напомнил им, что ободрение духа они найдут только в Господе, Который допустил такое: чтобы они покаяться, провели остаток лет в служении Богу. Старичок со старушкой согласно кивали головами. Павел разохотился,

слушатели были внимательны, и беседа их могла затянуться, но тут его окликнули. В крепости самые худшие камеры находились в подвале. Сюда и втолкнули Павла. Камера оказалась без нар, только солома, перетертая телами арестантов, прикрывала горбатые каменные плиты. Под самым потолком еле брезжил свет наступающего дня. Картинка точно с полотна художника, да собственно Павел и представлял себе тюрьму именно так. Он содрогнулся, представив себе ужас будущего пребывания в этой яме, но окружающие его зеки страха не разделяли, напротив - они весело принялись устраивать свое временное жилище. Из их разговоров Павел понял, что им тут надлежит быть временно.

Оглядевшись, Павел пристроился рядом с таким же молодым человеком, как и он сам, к тому же земляком. Павел, кажется, видел его на воле, и, разговорившись, вспомнил его, как пионервожатого, активного общественника, постоянно толкущегося в клубе, а тут узнал, что парень этот оказался карманным воришкой, и вся клубная суета сослужила ему неплохую службу: он прикрывался активностью, как ширмой. Он без конца болтал о своих мерзких преступлениях, не брезгуя циничными подробностями, и вскоре надоел Павлу, тот пересел в другое место. В этом углу толковали об амнистии, вспоминали прошлую, связывали с ней надежды и чаяния воли, невинно складывая при этом легенды о мифическом добром начальнике, от которого все они ждут милости. Павел с большим сомнением слушал эти бредни, потому что даже со своим малым опытом не верил в возможность прощения со стороны властей.

Так прошло время до обеда. Разнесли баланду. За время пребывания в заключении Павел свыкся с тюремной едой и с молитвой приступал к обеду, но то, что поставили перед ним, никак нельзя было назвать человеческой едой. Пересиливая отвращение, он взял миску и отошел в угол: - Господи! Святым и пророкам приходилось встречать еще худшее, освяти эту пищу, помоги принять ее без осуждения и не во вред...

Смирив свою плоть, Павел делал первые шаги в великой школе жизни.

На прогулке Павел услышал из окон самую изощренную брань, ругань арестантов, окрики конвойных, и в особенности тут распались бранные уста, когда на прогулку выводили женщин. Между прочим, Павел тут впервые услышал, как бранятся женщины и удивился этому: проникает ли когда-нибудь луч истины и любви Божией в глубину души этих несчастных?

Через два дня - Слава Богу, что всего через два дня! - снова вызвали на построение, переждали обыск, перекличку, и колонной - на этот раз небольшой - вышли за ворота. Прошли по городу не более километра, как увидели такое же мрачное здание, только поменьше. В нем размещалась исправительно-трудовая колония. Относительная свобода - камеры с окнами без козырьков, виднеющиеся улицы города, посвистывающий маневровый паровозик, снующий по путям - на время приободрила Павла. Досталось и удобное место, хотя, как и в той тюрьме, его предупредили, что все это временное, смирился он и с ежедневной работой в соседнем корпусе: там собирали мебель. Одно удручало: бесстыдное поведение женщин, их брань и циничные замечания. Полуобнаженные арестантки висли на решетках окон бесстыдно и с упоением перекликивались с мужчинами, изощряясь в знании тюремного жаргона, содержанием которого становились интимные подробности их жизни. Всякий раз, проходя мимо, Павел мысленно обращался к Богу:

"Боже! Боже! Во что же превратились эти, в прошлом наверное миловидные некогда стыдливые, нежные существа, потерявшие ныне всякую совесть Твою, целомудрие Твое, здравомыслие от Тебя! С какой ненасытностью овладел ими грех! Вот что значит - лишиться страха Божьего, лишиться истины Твоей, соли мудрости! Это то погибшее, которое только Ты можешь спасти!" Заговорили о дальнейшем этапе. Гадали - куда? Носились слухи: на Соловки. Иные готовились к Колыме, а кто-то даже слышал, будто на Сахалин. Как бы то ни было, правда заключалась в одном: повезут их так далеко, как только могут придумать изуверы в форме НКВД.

И вот уже построение. Снова перекличка, обыск, конвой справа и слева, за ворота долой, прямо на станцию, на товарный - подальше от людских глаз на двор, к составу из "телячьих" вагонов. Окошечки под крышей уже забраны стальными полосками. Уже рассредоточилась охрана, оцепив

состав - мышь не проскользнет. Уже рвутся из рук конвоиров злобные собаки, дальше, дальше вдоль вагонов - а в каждом набито уже десятки заключенных, вот и нужный толчок в спину: "Полезай!" и Владыкин на новом месте, по соседству с парашей.

Наконец поехали. Ворье прилипло к окошкам, а Павел так хотел полюбоваться природой. Но вот добылись самодельные карты, сбилась группка игроков, как раз из тех, кто застил свет в окошке. Павел приткнулся к окну.

Боже, до чего же прекрасен мир! Одуванчики на косогорах, незабудки, разбросанные по изумрудному полю, извилистая дорожка, ведущая к лесу, нарядная березка, жеребенок на лугу, девчонка с цветами... Боже, до чего же мудро ты устроил мир, а мы, люди, искажаем картину Твоего мира!

Последние слова, очевидно, Павел произнес вслух, урки притихли.

-Эй, ты! Канай сюда. За что тебя?

Павел опустил на краешек нар, и спокойно стал свидетельствовать им о Христе, и весть эта свежей струей стала разряжать враждебную атмосферу, которая вспыхнула недавно в вагоне. К Павлу подсели и из другого угла, урки молча потеснились. Павел рассказал им о страданиях Иосифа, потом об отроках в раскаленной печи и сочел эти примеры с подвигами ранних христиан. Слушали молча. Карты бросили. Тут поезд стал тормозить. Без всякой связи с предыдущей темой, Павел вдруг посетовал:

- Эх, мне бы хоть весточку матери послать, ведь она ничего не знает!

- Да ты что? - вмешался сочувственно уголовник, которого все звали Батя, - не знаешь, как это делается? Пиши скорей, на станции кинем в окно.

- Не на чем писать, - развел руками Павел. - И нечем.

- Эй, урки! - крикнул Батя. - У кого бумага и карандаш! Дайте ему!

Ворье стало шарить по карманам, но такой инструмент как ручка был явно им не с руки. Отозвался один. Он вынул конверт и бумагу и со словами: "Смотри, не потеряй - это для меня дороже золота!" подал огрызок химического карандаша.

Павел не стал терять времени.

"Мама, папа и бабушка! Поздравляю вас с прошедшей Пасхой, Христос Воскрес! Меня внезапно отправили из тюрьмы. Никого из вас не видел. Мама, меня вели по той же дороге, по какой шли вы с отцом. Меня увезли в Рязанскую крепость, а теперь увозят куда-то далеко, говорят - на восток. Бросаю вам письмо из окна вагона. Будьте спокойны, Господь со мною. Ваш сын Павел". Он заклеил конверт, написал адрес и потянулся рукой к окну.

- Куда? - заревел Батя. - Куда ты кидаешь? Псу под хвост ты кидаешь, понял, а не мамке! Дай сюда. Отломив от пайки кусок хлеба, Батя быстро-быстро стал мять его в руке, пожевал, снова смял - вышел глинистый мякиш, которым он ловко оклеил свернутый в трубочку конверт. Подтянувшись к окну, минуту стоял молча Павел следил за ним с замиранием сердца - но вот увидел:

-Эй, мамаша! Опусть в ящик - письмо на волю!

И с силой швырнул тяжелый комочек хлеба. Павел прилип к краешку окна и увидел, как письмо, завертевшись юлой, отскочило к дальнему краю платформы а женщина, проходившая мимо, испуганно оглянувшись по сторонам, наклонилась и подняла его.

Спустя много лет Луша со слезами на глазах вспоминала, как она получила из рук незнакомой женщины долгожданную весточку от сына.

Глубокой ночью прибыли в Москву. Состав не успел остановиться, как раздался оглушительный грохот. Кто-то вскочил, раздражаясь страшной матерщиной, потирая уши и затылок.

Снаружи изо всех сил дубасили железной палкой по стенкам и по полу вагона. Павел встревожился: что это?

Оказалось, на всех остановках конвой, предупреждая возможные побег, вооружившись колотушками на длинных ручках, обстукивали вагоны в поисках пропиленных мест.

Не успев пережить одно происшествие, тут же грянуло другое: в сдвинутую дверь буквально ворвались несколько конвоиров с фонарями в руках:

- На проверку! - заорали они. - Перебегай налево! Быстрее! Перебегай направо! Быстро, быстро... И отборная матерщина. "Подбадривая" заспанных арестантов ручкой от колотушки, конвоиры перегнали всех в одну сторону вагона. В открытую дверь виднелись дула винтовок и две овчарки с разинутыми пастьями - только дай, вмиг порвут на части!

Вагон осмотрели и обстучали изнутри.

-Перебегай гуськом! Быстро! Без последнего!

Конвой лупил ручками от колотушек арестантов по спине, старшой торопливо считал, последнему доставался двойной удар - хорошо, если при этом старшой не сбивался со счета и проверку не приходилось повторять дважды, а то и трижды, до тех пор, пока конвой не убедится в наличии всех обитателей телятника.

Утром раздали по пайке хлеба и на двоих - банку рыбных консервов. Закрытых. Поднялся крик - дайте чем открыть консервы. Конвой отвечал молчанием. Между тем три банки уже открыли и съели. Вдруг в открытой двери возникла фигура старшого:

- Сдать банки!

Пересчитал. Трех банок не хватает. Вагон оцепили, арестантов выгнали вон, начался обыск.

Шарили с полчаса - тщетно: предмета, которым можно было открыть банку, не обнаружили.

Чудеса!

Зловещий состав медленно пополз вначале на север, со станции Буй взял направление на восток. И чем дальше уходил от центра, тем беспорядочнее становилось питание - очевидно, был приказ. И без того полуголодный паек сократили вдвое, вскоре перешли на кусок соленой рыбы. Зеки страдали от жажды, но воду разносили только на больших станциях. Полагался чай, а к чаю - сахар, немного - что-то чуть больше стакана на весь вагон, но сахар исчезал мгновенно - ворье считало чаепитие личной привилегией. Павел узнал от старых зеков, что каждому арестанту полагалась - полагалась! каждодневно горячая пища. Увы!

После Вятки и особенно Перми за окном замелькала... колючая проволока: сплошные лагерные зоны. Из вольных не встречали никого. Усилился голод, духота в вагоне стояла нестерпимая. От испарений и ополосков пол превратился в склизкий каток, но и эту слизь кое-как подчищали метлой и ложились на пол, спасаясь от жары. На больших станциях, под знаком особой милости, бесконвойной службе разрешалось истратить собранные деньги на покупку хлеба, сахара и махорки, но деньги отбирали под предлогом пресечения картежной игры. У Павла же давно украли его тридцатку и он особенно страдал от голода, в то время как урки буквально вырывали из рук принесенные продукты. Обжираясь, ватага разбойников не обращала ни малейшего внимания на голодающих сотоварищей. Лишь однажды Батя, видимо уловил затравленный взгляд Павла, следившего, как исчезает купленная, скорее всего на его же деньги, колбаса, сжалился и отломил ему кусочек.

Нажравшись, урки принимались за развлечения: мастерили карты, украшали тело татуировкой.

Батины телохранители выправили бритву из металлической полоски и побрились. Тут же последовала реакция конвоя: завидев бритые морды на фоне обросших лиц остальных арестантов, они снова устроили обыск. Нашли те самые пустые консервные банки и обозлились на весь вагон: наложили штрафной карантин, то есть попросту перестали давать еду. Для ворья, которое все это затеяло для развлечения, штраф оказался неощутимым, а для остальных? И без того ужасные страдания от голода и духоты удесятились. Многие ехали влужку - не хватало сил. Павел терпел и молился. Мизерную пайку он разделил на три части, хранил их отдельно в карманах. Время от времени он прощупывал на себе одежду, втайне надеясь обнаружить еще ту пятерку, которую заначил в тюрьме, но искать более тщательно опасался, чтобы не привлечь внимания урок.

В Свердловске произвол конвоя перешел все границы. Жара стояла невыносимая, раскаленная крыша так и пышела жаром, несколько раз вагон обошли с колотушкой и целый день томили голодом. Первые не выдержали женщины: они стали вопить, призывая мужчин к протесту. Будто по команде над всем составом пронесся мощный людской стон:

- Хле-еба! Во-оды! Про-куро-ра!

Состав держали между товарняками, но крик услышали вольные, на мосту стали скапливаться люди, между ними тоже началось волнение, конвой поначалу угрожал, потом растерялся.

- Хле-еба! Во-оды! Про-ку-ро-ра! - стонали заключенные.

Выход нашел старшой; он побежал к начальнику станции, расчистили пути в дальнем конце станции, куда люди не допускались, и туда загнали весь состав. А к вечеру принесли хлеб и кадушки с баландой. В бочках подали воду. Вмиг все расхватили. Появился и прокурор. Он внимательно выслушал жалобы, чиркнул пару раз карандашиком в записной книжке, обещал разобраться, состав отправился, ...а произвол конвойных усилился. На этот раз голод коснулся и урок. Они набивали бочки хромовыми сапогами, куртками, рубашками, брюками и все меняли... на корку хлеба и пачку махорки. Это было неслыханно! Люди зверели - крошка хлеба в руках у какого-нибудь счастливого вполне могла стать причиной для убийства.

Часами говорили о тюремных произволах. Без приукрашиваний, скучными голосами, зеки делились опытом о перенесенном в Соловках, на Беломорканале, Вишере, Мариинке, Воркуте. Все рассказы, как правило, подтверждались демонстрацией изуродованных рук, ног, шрамов на теле, лице, голове и назывались имена палачей. Павел не мог слушать этот треп без содрогания и лишь молился, привыкая и готовя себя к подобным испытаниям. Чаще всего он старался перевести разговор на Библейские темы. Вздыхая от мрачных воспоминаний, слушатели постепенно светлели лицом, проникая, каждый по-своему, в смысл слов Иисуса Христа. Особенно полюбился им рассказ о Его страданиях: в них они усматривали нечто схожее с собственной судьбой.

Уже целый месяц длился этот бесконечный этап, эти кошмарные мучения, которым тоже не было конца. Появились вши. Немудрено: за это время их лишь однажды сгоняли в душ, где-то после Перми. Попытка посетить баню в Иркутске не удалась: люди не стояли на ногах. Одежду прожарили, но без толку вши не исчезли.

Силы оставили всех - и урок и нормальных арестантов: лежали покотом.

Теперь в вагоне, с трудом вмещавшем тридцать шесть человек, стало свободнее: исхудавшие тела напоминали высохшие щепки.

Вот и Забайкалье. Дорога причудливо вилась между сопок, поросших невиданным лесом, где-то южнее, в сизой дымке угадывалась Манчжурия. Менялся облик природы, характер построек, не отступал только зной: дальневосточное солнце ничуть не уступало европейскому. Потные тела арестантов подсыхали только ночью. Заканчивался июнь, а там...

Однажды проснулись от необычной тишины. Поезд стоял. Не было слышно и конвойных колотушек. Посмотрели в окно: у вагона стоял конвойный.

- Что за город? - спросил Батя.

- Облучье, - неожиданно приветливо ответил тот. - Приехали.

Как по команде все вскочили, кинулись к окну, навалились друг на друга. Недалеко, за железнодорожными путями поднимался в гору поселок.

- Ну что, братцы, - послышался голос конвойного, отодвигая дверь и запирая ее на крайнюю сержку, - приморили вас в дороге? Ничего, не унывайте, у нас оживете.

Свежая струя воздуха ворвалась в вагон, вместе с ним, из-за сопки, брызнули лучи солнца.

Как-то совсем по-другому, по-людски, что ли, роздали воду, утреннюю двойную! - пайку хлеба, по несколько штук селедки - иваси и объяснили, что рацион выдается на весь день, до места.

"До места! До места!" - пронеслось по вагону. Выходит этапным мучениям пришел конец?

Арестанты заметно оживились.

Перед вагонами поставили столы, на них разложили дела арестантов. Вызывали по фамилиям, с вещами. У столов распределяли по колоннам.

Павла сразу же оторвали от вагонных товарищей и с незнакомыми узниками направили в вагон-баню. Оттуда - в вагон, на котором белели громадные буквы - БАМ (Байкало-Амурская магистраль). Вагон постепенно наполнялся заключенными. К вечеру, с гиканьем и хохотом,

втолкнули нескольких женщин. Те потребовали отделить для них уголок, что было тут же исполнено. Вслед за ними появилась прилично одетая девушка тоже из зеков и объявила, что до места назначения пища выдаваться не будет, но если у кого-то сохранились деньги, она может купить продукты. Павел обрадовался: он уже давно нащупал пятерку и тут же вручил ее благодетельнице. Через полчаса она вернулась, подала пищу. Павел с жадностью набросился на еду, но тут же, вспомнив, что после длительного голодания нельзя много есть, умерил пыл и оставшиеся кусочки завернул в тряпочку. Одна из вошедших девушек жадными глазами проводила исчезающие кусочки.

- Вы, наверное, сильно голодны?

Девушка кивнула головой, сглотнув слюну. Павел развернул тряпку:

- Возьмите, покушайте.

Девушка осипшим голосом пояснила:

- У меня была целая сумка с продуктами, помогли на этапе.

Еда исчезла моментально. Павел заметил на руке, в которой она держала хлеб, татуировку с именем и хотел разглядеть ее, но девушка тут же спрятала руку за спину.

Вагон закрыли, объяснив, что теперь его откроют лишь на месте назначения. Наступил полумрак.

Девушка продолжала сидеть на том же месте. Павел спросил, не желает ли она послушать историю о Марии Магдалине, и о ее встречи с Христом. Девушка кивнула головой. Павел принялся рассказывать, искренне жалея эту погибающую душу. На середине рассказа у нее потекли слезы.

Павел умолк, не желая усилить ее страдания.

- Конечно, я виню начало и причину моего падения, всхлипывая, призналась она, - но вот сейчас я впервые узнала о том, что и для потерянной жизни есть счастье. О, как бы и я хотела встретиться с Великим Учителем!

Утром в дверь деликатно - деликатно! - постучали:

- Кончай ночевать! Приехали работать, а не спать. Выходи с вещами!

Павел недоверчиво посмотрел на говорившего. Обыкновенный мужчина, без злобного оскала и без хищного огня в глазах. Еще больше удивило то, что за его спиной не виделся конвой с собаками. Он спрыгнул на землю и огляделся.

Вагон стоял на запасном пути. Прямо от рельсов начиналась заболоченная равнина, за которой подковообразной стеной синела дальневосточная тайга. Близко цвели золотистые лилии и ярко-красные сурамки. Утренняя свежесть так и распирала грудь, после затхлого воздуха "телятников" от нее кружилась голова. Кое-кто присел в изнеможении.

За толпой арестантов наблюдала молодая красивая женщина. Павел подошел поближе: миловидное лицо несло на себе отпечаток суровости. Было той женщине не более двадцати пяти лет. Это была Зинаида Каплина, начальница первой фаланги (лагеря). Под ее начальство и прибыли арестанты, в том числе и Павел Владыкин.

Рядом с Каплиной стоял мужчина лет 35 с таким же суровым, но похотливым лицом, рябым и дряблым. Это был лагерный опер. Удивительнее другое: оба они - заключенные, но пользовались особыми привилегиями и тем самым ничуть не отличались от вольнонаемных. Кроме того, они сожительствоваали, хотя всем давали понять, будто они супруги.

- Ну что ж, ребята, - властным тоном заявила Каплина, вот вы и прибыли на разъезд "Известковый", на фалангу номер один, где будете под моим началом. Я вам сочувствую, вы приморены, еле держитесь на ногах, что не мудрено после двухмесячного этапа. Фаланга находится в двух километрах отсюда, и мы сразу же пойдем туда. Извозчиков для вас нету. Наши лошадки возят землю и выполняют план. По дороге будем отдыхать, чтобы пришли живыми. Вперед!

Каплина с опером пошла впереди, за ними, закинув мешки за плечи, потянулись зеки. Шествие замыкал конвой с винтовкой.

Пусть условная, но свобода! Свобода от вагона и опостылевших уроков! Павел окончательно воспрянул духом.

Шли вдоль насыпи, за поворотом, в каменистом ложе открылась кристально чистая, таежная речка, все в один голос попросились на отдых. Павел кинулся в воду первым, и как малое дитя заплескался у бережка. Полными жадными глотками пил он студеную воду, тихо говоря:
- О, Господи! Если бы это место стало для меня потоком Хораф, куда Ты повелел когда-то скрыться на время Илье! Как я был бы счастлив на этих камнях склонять голову и колени перед Тобой! Как тихо не произносил Павел слова благодарственной молитвы, Господь услышал его: это место и в самом деле стало подлинным Хорафом для Владыкина, местом, где он не раз изливал свою душу перед Господом.

Показались брезентовые палатки, раскинутые неподалеку от кочковатого болота. Здесь и разместились на новых, тесовых нарах на четыре человека, которые тут назывались "вагонками". В цинковых тазиках, с расчетом на 10 человек, принесли еду. Павел одолжил котелочек, отмерил содержимое тазика и вышел наружу, чтобы, помолившись, поесть. Но стоило ему наклониться над котелком, как в нос ударила вонь, напоминающая гнилую торфяную жижу. Павел посмотрел на товарищей: все как один с бранью выливали содержимое тазика за стену палатки. Преодолев отвращение, Павел хлебнул жижу через край ложки не было. И тут же выплюнул обратно - рот будто обожгло ядом. Опрометью кинулся он к бачку с водой, чтобы ополоснуть рот. Помешав в котелке палочкой, исследуя - чем же тут умудрились кормить людей, он обнаружил разваренную вместе с внутренностями рыбу, источавшую такое зловоние, что котелок невозможно было держать рядом.

В палатку почти вбежала начальница, лицо ее исказила гримаса злобы.

- Это что такое?

Один из раздраженных урок на блатном языке выразил ей свое негодование, и в ответ полилась такая отборная матерщина - из уст женщины! - что Павел в ужасе закрыл уши руками. Каплина злобно выговаривала зекам не только за то, что те отказались есть жижу, но и за то, что испортили траву возле палаток.

Она угрожала, что даст еду и похуже и все будут жрать, а несогласных она засадит в "крикушник" - что-то типа лагерного карцера - что она видела и не таких, что они еще попомнят...

Закоренелые преступники, ворье, годами не вылезавшие из тюрем, молча, с побледневшими от страха лицами, слушали всю эту мерзопакостную речь.

Вот каким оказался для Павла Владыкина первый лагерный день.

Поведу тебя вперед

Павла ждал вызов в управление. Напарник спросонья сунул ему клочок бумаги, записанный по селекторной связи. Вот что там было написано:

"Владыкину немедленно, по получении настоящей телефонограммы, с рабочими чертежами и текущей документацией явиться в управление. Кроме того, сняться с учета и довольствия, взять вещи, остальное оставить сторожу",

С грустью оглядел Павел свою избушку, точно прощаясь с нею. Жалко было оставлять обжитое место, да жизнь у него подневольная.

"Не для покоя в мире этом,
Христова Церковь избрана,
Ей Богом и Святым Заветом,
Здесь только битва суждена!"

От слов гимна легче стало на сердце. Молился, пока не облегчил и душу. Уснул крепко и спокойно. Сборы оказались недолгими: все его имущество свободно вмещалось в отцовском чемодане. Прощаться пришли немногие: у каждого из лагерников завтрашний день был точно такой же туманный, как и у Павла. Их не спросят: желают ли они ехать туда-то и туда-то, а на вопрос ответят в лучшем случае ядовитой репликой. Каждый отчаянно боролся за жизнь. Так был ли Павел в таком случае исключением? Нет, конечно.

Кое-как доплелся до управления. Документы приняли равнодушно - да и как управленцы могли реагировать на появление очередного "зека"? Велели направиться в 3-й отряд.

Из третьего отдела Владыкина тут же направили в центральную тюрьму. Да, в ту самую, где его чуть не сожрали клопы. От воспоминания его передернуло. Неужто опять в клоповник? Нет, повели мимо, толкнули в небольшую камеру. Трое обитателей готовились ко сну. Павел последовал их примеру. "О, Иисус мой, сохрани меня и здесь!"

Утром с ним беседовал начальник спецчасти.

- Ну, Владыкин, - на нас не сетуй: в том, что тебя сняли с работы и сунули сюда, нашей вины нету. Отсюда пойдешь на Кожевничиху - она хоть и числится в разряде штрафных, но из трех фаланг ты выберешь себе подходящую. Вот тебе пакет с твоими документами - отдашь по прибытию. Отправляем тебя без конвоя - ты не сбежишь, мы тебя знаем, мы тебе доверяем. Тут недалеко километров пятнадцать.

Город остался позади. Павел улыбался: "Мой Господь Сам нес на Себе крест, на котором Ему надлежало быть распятым. А мне даже пакет вручили - в нем мои предстоящие мытарства!" Сколько передумаешь, пока шагаешь накатанной дорогой! Тут тебе припомнятся и ужасы этапного вагона, и лишения на третьей фаланге, и встреча с Ермаком, милые лица деда Архипа и Марьи, и кошмары зоны Кутасевича, и проводы в небесную отчизну Зинаиды Алексеевны, и леденящие душу страхи штрафной фаланги... Да что говорить: не по годам страдания. Вот лучше подумать о своем детстве, о бабушке, о Кате, покаянии... Слезы выступили на глазах у страдальца. Он приостановился, поискал место для молитвы. Вот, кажется, подходящее - затишок и даже подстилка из соломы. Павел упал на колени:

- Боже мой, Боже мой! Услышь меня. Ведь мне только 22 года, прошли лучшие годы детства и юности, нахожусь ныне в страдании, а что впереди? Много я получил благословений и радостей от Тебя, от многих ужасов Ты меня избавил, но предстоящие муки страшат меня еще больше. Если Ты не ободришь меня, я не пройду. Рассей мои сомнения, сотри мрак моих скорбей. Ты ведь знаешь, за Твою истину несу лишения и нести их хочу с радостью. Помоги же мне, Господи! Помоги!

За коряжиной слышался людской говор, кашель, шум шагов. Павел осторожно выглянул. Растянувшись длинной чередой, топала ватага заключенных, охраняемая конвоем. Не трудно было догадаться, что этап шел в Кожевничиху. Впереди, без всякой поклажи, беспечно скалясь, шли урки. Видно только что с воли: в шапках, телогрейках с опушками, в подшитых валенках. Для этой категории узников очередной этап - всего лишь увеселительная прогулка. А вот для тех, что волочились сзади, согбенные под тяжестью воровского добра, изможденные, одетые в немислимые лохмотья - для тех чем виделся этот переход? Ботинки по полпуда из автопокрышек, еле бредут бедные доходяги. Вот один свалился в сугроб. Громкая брань, тычки конвойных, остановка всего этапа... Никто не проронит и слова сострадания. Конвойный крикнул: "Пошел!", сам махнул едущей позади подводе, двое зеков нагнулись, подняли безжизненное тело, швырнули поверх сена и снова: "Пошел! Пошел!".

Боже мой! Сколько же на свете несчастных, страдающих гораздо больше меня! Здесь я много счастливее их. Прости мои сетования!

Ободрившись, Павел пропустил колонну, зашагал следом. В поселок притопал к вечеру. Заключенные расходились по баракам.

- Стой! Ты куда? - окликнул его зычный голос. Павел повернулся - да это никак Петров, тот самый Петров, который уже брал его на строительство моста еще на первой фаланге.

- Ты как тут появился?

Павел молча достал пакет. Петров распечатал, бегло прочитал, брови вскинулись удивленно:

- За что же твоя дурная голова угодила в штрафную? Опять, видно, за веру! Говорил тебе: твой Бог заведет тебя и не в такое место. Эх, ты! Жил бы да жил в свое удовольствие, учился бы, в люди вышел. А ты... Ладно, это потом. Начальником тут я, только ты мне не нужен. Куда тебя?

- Гражданин начальник, - не поднимая глаз, заговорил Павел, - вот вы человек образованный;

убеждений, которые привели вас сюда для освоения этого дикого края, не оставили, хоть они не дают вам ничего утешительного, да и не дадут в будущем. Так как же я могу оставить свою веру, которая выводит меня всюду из тех мест, куда гонят злые люди? Эта вера вселяет в меня радость, вера, которую исповедовали в течение тысячелетий самые лучшие, самые добрые и искренние люди.

- Да ты не обижайся, Владыкин! Ты не обращай внимания на мою ругань, тут и святой человек превратится в собаку. Я же тебя полюбил еще там, на первой. Жалко мне тебя. Затопчут тебя в грязи, хоть и вынужден признать: есть в тебе эта... твердость, что ли. Ну, не унывай - я тебя в обиду не дам. Иди воон в тот барак, отдыхай.

Дневальный сонно посмотрел на новенького.

- Тут у нас спокойно, одно начальство живет. Иди в каптерку за постелью. Спать будешь здесь. Харчи ношу три раза в день. Если есть деньги, в ларьке покупай, что хошь. Ни утром, ни днем Павла не трогали. К вечеру он сам забеспокоился, отыскал Петрова.

- Да ты отдыхай! - отмахнулся от него начальник.

Прошла еще ночь. Но теперь Павел стал настойчивей:

- Иван Васильевич, я без дела не могу. Не ругайтесь, но я христианин и зря хлеб есть не стану. Дайте любую работу.

Петров сплунул и поставил Павла на учет лесоматериала. Уже через неделю Павел представил такой отчет начальнику, что тот даже присвистнул от удивления:

- Вот так аккуратист! Ладно, есть для тебя одно местечко. Секрет "местечка" заключался в том, чтобы строго следить за исправностью профиля ледяной дороги, по которой лесоматериал вывозили с плотбища. На сани грузили по 10-12 кубов. Дорога шла под уклон, и здоровенные битюги с трудом удерживали эту гору леса. По технике безопасности надо было выдерживать дистанцию примерно в километр между санями. Правило это нередко нарушалось лихими возчиками, в основном из урок. И вот однажды Павел стал свидетелем душераздирающей картины. Только он пропустил тяжело груженные сани, как метров через двести вынырнули вторые сани. Возчик лихо помахивал кнутиком и не сразу сообразил, что его битюги не в состоянии притормозить. Инерция увлекла бедную пару лошадей, они заскользили на льду, тяжелый груз все сильнее толкал на животных, возчик растерялся, закричал, спрыгнул с саней, стал сыпать песок, швырнул под полозья ватник - все тщетно. Вот уже расстояние между санями двадцать метров, десять метров, пять метров... Сани с треском врезались в передние, послышался крик, в стороны брызнула кровь, полетели куски растерзанного животного.

- Я больше не смогу там, - тихо признался Павел начальнику о случившемся. Петров поразмыслил и определил так:

- Сколько было моих возможностей, я оберегая тебя. Видно, пришло время расстаться. Тут работы сворачиваются, сам видишь - людей все меньше и меньше. Лучшее, что могу сделать для тебя - направить на станцию: там нужно провести инвентаризацию. А расставаясь, скажу, что твой Бог загадка для меня. Вот ты молчишь, богомолец несчастный, слова поперек не скажешь, а ведь я вижу: твое молчание красноречивее проповеди. Прощай, иди своей дорогой и не сдавайся.

Да, сама жизнь Павла убеждала встреченных им людей в том, что безбожие - пустая вера, лишаящая человека радости. Он даже пожалел Петрова и выразил эту жалость в молитве:

- "Прости меня, Боже, я виноват и близорук - ведь я забыл наказ деда Никанора - спасай обреченных на смерть. Я побоялся этой пропасти, а ведь именно здесь Ты укрыл меня, здесь преподал мне дорогие уроки. Ведь и Петров - тот же конь, который сорвался на свою погибель, а ты дал мне такую силу, что глядя на меня и он останавливается на своем безбожном пути. Приведи и его к тихой пристани. Ты знаешь это..."

С инвентаризацией справился легко. Дал о себе знать в управление, и в марте пришло предписание: возвратиться в Облучье. Тут-то и подстерегло Павла новое горе.

Чтобы добраться до Облучья, Павел решил воспользоваться товарным поездом. Вместе с другими попутчиками он устроился на тормозной площадке. С ним ехали двое заключенных и

вольнонаемные - муж с женой. Поезд тронулся, какое-то веселое чувство охватило Павла, он по-детски радовался мелькающим картинам. Но вскоре заключил, что веселье это какое-то беспочвенное. В самом деле, чему радоваться? Что по прибытию его снова бросят из огня да в полымя? В глубине души он испытывал побуждение к молитве, но не прислушался к этому зову. И вот поезд подошел к станции, а тут и патруль. Всех сняли с тормозной площадки, обвинили в незаконном проезде и повели в отделение. Там Павел объяснил:

- Я строю эту дорогу и думал, что имею право на бесплатный проезд.

- Если б ты ехал на пассажирском поезде, так оно и было бы, - заявил инспектор. - Здесь же поезд товарный, ответственность иная.

И снова Павел испытал легкий укор: уж очень гордо отвечал он инспектору и ввел тем самым сердце в искушение. Все в нем дрогнуло и опустилось. Казалось, что тут такого - опасность незначительная, а вот уверенность поколебалась.

Вольнонаемных вскоре отпустили, Павла с одним из заключенных посадили под замок. Прошел час, вызвали снова. Учинили обыск. Нашли Евангелие. Когда книга оказалась в руках инспектора, все в голове Павла помутилось.

- Это что еще за молитвенник? Эге, да тут и пятно крови. Ну-ну...

Павел собрался было объяснить, что это кровь от раздавленного клопа, но инспектор уже вышел из комнаты. Павел приуныл: все пропало!

Второго задержанного также отпустили, не найдя при обыске ничего предосудительного. Павла отвели обратно в кутузку. Ночь прошла почти без сна. Мучимый голодом, Павел усиленно молился, просил у Господа прощения за свою гордыню, за то, что впал в искушение. Никогда еще не чувствовал себя Павел таким удрученным и беспомощным.

Лишь в полдень повели на допрос. Допрашивал Ходько начальник третьего отдела. Перед ним на столе лежало Евангелие.

- Так это значит вы Владыкин? - довольно миролюбиво приступил он к разговору. - Гм, я представлял вас более зрелым. Ну что ж, давайте побеседуем откровенно.

- Охотно готов дать вам на все исчерпывающие ответы.

- Гм, хорошо. Тогда вот вам первый вопрос: как, при каких обстоятельствах и кто убедил вас, внушил или принудил принять веру в Бога?

- Никто мне не внушал и не принуждал к этому.

- Как так? Ведь вы же верите в Бога?

- Теперь, пожалуй, уже не просто верю - теперь я живу Господом. Меня удивляет ваш вопрос.

Почему кто-то должен обязательно внушать? Тем более принуждать. Вот вас кто-нибудь принуждал питаться материнской грудью?

- Гм, это не относится к нашему разговору. Хотя готов ответить. Ведь я плоть от плоти моей матери, девять месяцев жили одной жизнью, заложенные во мне инстинкты принудили питаться сосцами матери.

- Так вот так же точно, как вас потянуло к материнскому молоку, в котором заключалась жизнь вашей плоти, точно также всякого здравомыслящего человека влечет к Богу, ибо в Нем есть жизнь духовная. Вот я и стал искать Бога, чтобы иметь жизнь вечную. Нашел его через Библию. Сначала искал правду в жизни, искал бескорыстную любовь. Искал, в чем заключается смысл человеческой жизни. Ответ в людях я не нашел, Библия же указала мне на Иисуса Христа, вот я и нашел то, чего искала душа.

- Так что же, выходит неверующий в Бога и неживой вовсе?

- А вот вы почитайте, что написано в Евангелии, которое лежит перед вами. "В Нем, в Христе, была жизнь и жизнь была свет человеков". "Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни". Почитайте Первое послание Иоанна, глава 5, стих 12. То, что вы называете жизнью, на самом деле таковой не является, это простое существование в теле. Человеком, живущим вне Бога, владеют низменные инстинкты: блуд, зло, нечистота уст, идолопоклонство, ссоры, зависть, непослушание, ненависть, убийство, бесчинство. Разве это

основа жизни? Человек, живущий по этим законам, духовно мертв. Такие люди никому не нужны, даже государству. А вот вам другой человек, в котором есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, милосердие, кротость, воздержание. Такой человек нужен всем, поступки его жизненны, но стать им может тот, кто верит в Бога и имеет Его в себе.

Ходько слушал молча, постукивая карандашом по столу. Время от времени он раскрывал Евангелие, рассеянно листал его. За окном стемнело.

- Конечно, люди честные и миролюбивые всем нужны. Но таковые могут быть и неверующими и именно таких воспитывает наше общество. Для этого прилагаются огромные усилия, затрачиваются средства: литература, кино, школа, театр - все это требует затрат. Вера же в Бога представляется мне фанатизмом, пережитком прошлого. С этим надо порвать, особенно вам, грамотному, молодому, умному. Да вот судите по себе: не верили бы, не оказались бы в застенках. Разве не нуждается в таком, как вы, человеке наше общество, государство? Очень нуждается. И вас посадили не за то, что вы верите в Бога, а за то, что вы выступаете против наших культурных мероприятий, не посещаете кино, танцы, театры и прочие места, весьма популярные у нашей молодежи. Вы и сами стали бы видным и передовым юношей.

- Просто неудобно выслушивать от вас, старого, образованного большевика такие допотопные аргументы, которые часто используют в своих лекциях неграмотные атеисты. Вам-то надо рассуждать логичнее. Но уж раз заговорили и об этом, надо отвечать. Вот что я вам отвечу. Буду говорить о ворах, грабителях, убийцах - о тех преступниках, с которыми я хлебаю одну баланду и знаю их лучше вас. День-деньской я с ними. Вижу, что среди них много грамотных людей, они читали и читают романы, как только в клуб привезут коробки с кинолентами, первыми занимают места. Теперь вот укажите мне хотя бы одного из них, кто оставил бы пьянство, грабеж, разврат только на основании прочитанного романа или увиденного кинофильма? Думаю, нет у вас таких примеров. Зато я могу показать вам тысячи тех, кто после чтения Библии и посещения богослужений оставил свои гнусные привычки. Теперь скажите есть ли у вас хоть один пример, запечатленный в моем деле, чтобы я насильно вывел кого-то из театра в силу своих убеждений? Может, я избил кого-то за прочитанный роман? Или отваживал от дверей кинотеатра? И таких фактов нет у вас, да я бы первый осудил подобное поведение. Но вот за то, что я христианин, что я не все книжки подряд читаю, а по выбору, за то, что меня вынудили публично раскрыть свои убеждения, так вот за все это меня в 20 лет оторвали от родительского гнезда и бросили сюда, к вам в кабинет, на допрос и издевательство. Вот где фанатизм, вот в чем пережиток, средневековый пережиток. И содержите меня рядом с бандитами и насильниками, ворами и скотоложниками, на штрафных работах и в венерических колониях. И все за что? Только за то, что я люблю моего Иисуса, соблюдаю Его заповеди. Вот и сейчас я сижу перед вами только за то, что вы нашли у меня Евангелие. Не будь его, давно бы уже отпустили, как тех зеков, что ехали со мной на площадке. Да еще голодом морите.

- Как голодом? - встrepенулcя начальник. - Разве не кормили?

- Будто вы не знаете режима ваших каталажек.

- Ну, это мы поправим, - пробормотал Ходько и стал названивать по телефону. Время было позднее, видимо, никто не откликнулся, тогда он позвонил в собственную квартиру и оттуда принесли миску кислой капусты да пару блинов. Помолившись, Владыкин тут же подкрепился и приготовился к продолжению разговора.

- А как вы смотрите на службу в армии? - продолжил Ходько. - Ведь ваши единоверцы отказываются брать оружие в руки.

- Смотрю так, как учит Слово Божие...

- Ну, посудите сами: если все будут верующие и на страну нападут враги, кто же возьмется защитить ее?

Ходько с таким самодовольным видом откинулся на спинку стула, что Павел сразу понял: этим вопросом он посчитал, что припер его к стенке.

- Когда сложится такое положение, тогда и вы будете верующим, и будете горько сожалеть, что до

сих пор слыли атеистом. Но есть и другой ответ на ваш вопрос. Когда вы меня, беззащитного христианина, бросили на штрафную в толпу головорезов, то не думали ли вы втайне, что они меня прикончат? Во всяком случае, хотели посмотреть: что со мной случится? И вот я цел и невредим, никто меня и пальцем не тронул. Правда, они стащили мой чемодан, но и в этом случае их можно оправдать: они забрали у меня лишнее, ибо у меня была обувь, у них - нет, у меня была рубашка - кто-то из них был голый...

Конечно, всех вопросов, которыми завалил Ходько молодого человека и тех ответов, которые тот давал начальнику, не перескажешь. Павел лишь изумлялся тому, как Дух Божий присутствовал при нем и научал его давать ответы. Забрестило утро, уставший начальник сладко потянулся, давая понять, что пора кончать это препирательство, и сказал:

- Должен признаться, что своими ответами вы расположили меня к себе, хоть между нами тридцать лет разницы и идейные расхождения. Я старый большевик, много пострадал за марксизм, но никогда не думал, что в религии можно найти нечто осмысленное, животворящее. Если бы вы были в наших рядах, вы принесли бы огромную пользу. Впрочем, я и сейчас верю, что вы станете нашим товарищем. Вашими злоключениями по штрафным зонам я займусь лично тут чистое недоразумение, нельзя же мерить всех религиозников на один аршин. Да, часто за формуляром мы не можем рассмотреть истинной души человека. Но вот что меня интересует: могли бы вы разувериться во Христе?

- Если бы появился тот, кто справедливее Христа, тот, кого люди полюбили бы более Христа и научились бы побеждать Его именем, как победил Он, - тут ответ несложен.

Ходько встал. Евангелие взял в руки и вдруг от души улыбнулся.

- Вы ждете, что я верну вам Евангелие? Книгу не отдам. Вы знаете Евангелие наизусть, а я с ним мало знаком, так что не обижайтесь. А вы собирайтесь - пойдете на фалангу. Только в штабную не идите - неожиданно заключил он. Павел не придавал этому значения, лишь потом сообразил, в чем заключалась для него опасность попасть в штабную фалангу.

Вышло, однако же, не так, как хотелось: в обычной фаланге его не приняли, отправили как раз в штабную. Эта фаланга наполовину состояла из женщин. Объявился и знакомец - с ним Павел уже отбывал короткий срок пребывания в штрафной зоне. Тут же он оказался начальником Павла. Отвел место, кликнул двух женщин - те проворно принялись за уборку. Предложили скинуться на чай. Павел охотно вступил в складчину. А когда настало время и они зашли в комнату, вид ее преобразился: занавесочки, скатерочки, цветные картинки над кроватями. Кстати, на одной из них, мило улыбаясь вошедшим, сидели две разодетые девушки. Павел оторопел.

- Ты что? - удивился его знакомец. - Смутился? Так иначе не проживешь из жизни не вычеркнешь ни одного дня. Есть возможность - надо жить по-людски: с удобством, с женщинами. Видишь, как нам рады.

Он бесцеремонно облапил одну из женщин.

- Это - моя любовь. А это - ее подруга, ты ей понравился, так что заодно с новосельем отпразднуем и вашу свадьбу. Ты меня понял?

- Понять-то я понял, да вот чем расплачиваться придется за это.

- Перед кем это расплачиваться? - не понял товарищ. Тут холостых нету, тут все семейные, да не по одному разу.

- Есть Судья Всевидящий, имя Ему - Бог, у тебя и крест на груди выколот, как же ты не знаешь Его. Вот перед Ним и придется расплачиваться. Напрасно вы мне такую кровать застелили - на ней, как уснешь, так и не проснешься вовеки. Чайку мы попьем, только прежде встанем, и помолился за обед, я вам расскажу, что такое грех.

Любострастники пришли в крайнее недоумение. Товарищ Павла не успел подыскать слова для оправдания, как из коридора крикнули:

- Сашка! К селектору!

На нем лица не было, когда вернулся:

- В чем дело, Павел? Позвонили из третьей части, велели тебя срочно, с вещами доставить к ним.

В чем дело?

Встревожились и его подруги. Что мог ответить страдалец? Лишь пожал плечами и, подхватив нераскрытый чемодан, поплелся к выходу.

"О человек, человек! Как бы ни тщился ты стать великим, слово твое остается дешевым. Если уж Ходько довериться нельзя, а ведь он предупреждал не идти в штабную, то кому же верить? Как кому? Прости меня, Господи! Прости! Слава Тебе, что Ты управляешь нами!"

Сотрудники третьего отдела давно уже знали Павла и сейчас только сочувственно покивали головами.

- Придется тебе начинать новый виток скитаний - предписано снова отправить тебя в тюрьму.

- На все воля Божья, - смиренно ответил Павел.

В тюрьме встретил Хаима Михайловича и Евгения. Они рассказали о своих мытарствах, о Магде, который не нашел случая попрощаться с Павлом перед освобождением, о том, что их снова гонят на станцию Кундир, снова на штрафную зону, на работу в балластном карьере.

Бараки здесь разделили на комнаты-камеры, в них загоняли по 15 человек. На ночь камеры запирали. Утром и вечером переключка. Балласт насыпали на открытые платформы.

Нечеловеческие нормы, злобные подгонялы-десятники. Контингент заключенных - почти сплошь интеллигенция: врачи, учителя, инженеры, начальники предприятий, люди, абсолютно не приспособленные к физическому труду. Они и пустую лопату поднять не в силах, а тут тяжеленный балласт. Ослабевших не поднимали, а лупили палками и сажали в карцер. Голод, одиночество, издевательства...

В одну из ночей Павел усердно молился Богу, чтобы Он помог ему выстоять и утром, перед пробуждением, получил откровение, что ему предстоит далекий путь. Это подтвердили и бывшие друзья Магды - они устроились в контору, а там давно ползли слухи о предстоящем этапе.

После завтрака началась погрузка в вагоны. Странное дело ничего лучшего не ожидало впереди этих мучеников, а вот поди ж ты - лезли в телятники с радостными лицами, лишь бы хоть на минуту вырваться из каторги. Нечто подобное испытывал и Павел.

Эшелон миновал знакомые места: Облучье, Ударный, Лагар-Аул, первую фалангу, Известковый.

"Может быть, никогда уже нога моя не ступит на эту землю, политую, моими слезами. А сколько же крови людской пролито в этих дебрях? Слава Тебе, Господи, что оставляю эти места непобежденным. Многие беды кружились над моей головой, но от всех их Ты избавил меня, Господи!"

Проехали Волочаевку - с замиранием сердца Павел прислушивался к ходу поезда: не замедлит ли, не остановится ли в этом аду, куда направляли людей для строительства Комсомольска-на-Амуре. Нет, Слава Богу, пронесло. Пересекли территорию лагерей. Угрюмые лица арестантов обращались в сторону эшелона с безмолвным вопросом: а вас-то куда?

Амур открылся широкой водной гладью. И снова - лагеря, лагеря, лагеря! Свидетелями какого только людского горя не стала эта земля! Заглянет ли в эти мрачные места свет христианской любви и мира? Кто придет сюда со светом Евангелия, о котором Сам Спаситель сказал: "и будет проповедано Евангелие... во всех концах земли". Пока же скромные крупницы правды Слова Божия и скромные молитвы за бедный, погибающий народ несут такие безмолвные труженики на ниве Господней, как Павел. Придет ли кто к престолу Отца Небесного, скажет ли ему: "я та самая былиночка, выросшая от семени, посеянного им в этом нелюдимом, суровом краю?"

Позади остался Хабаровск, впереди - Владивосток. Проснулись в городе, на Второй речке. Здесь, под скалами, расположился пересыльный поселок. Карантин под фортом, наверху вооруженная охрана, внизу брезентовые палатки, окруженные колючей проволокой. Павел прибыл сюда буквально через несколько дней после бунта, устроенного урками по случаю раздачи супа с червями. Охрана пыталась под угрозами заставить есть эту баланду, от которой отворачивалась бы скотина. Зеки наотрез отказались, вылили бачки на землю. В отместку поступило распоряжение вообще лишить пищи. Заключенные подняли неистовый крик, много часов неистовые вопли оглашали окрестности. Администрация перепугалась, обратилась на форт, к

матросам за помощью. Узнав причину возмущения, матросы отказались принять участие в подавлении бунта. Вызвали пожарные машины - сильными струями воды все было смешано с грязью. Вопли стихли, несколько десятков заключенных снесли в общую яму, часть распихали по карцерам, остальных раскидали по другим лагерям. Все! С властью не шути!

В поселке собралось несколько десятков тысяч заключенных, давно ждущих пересылки на корабле. Павлу еще повезло: оказывается, для эшелона, в котором он прибыл, уже подвели к рейду корабль. Примитивная санитарная обработка, прожарка вшивого белья и вот ему указали место.

Едва Павел открыл дверь, как тут же попятился, посчитав, что попал сюда по ошибке. В самом деле, было от чего прийти в изумление: за опрятным столом сидели чисто одетые люди, часть из них в военном обмундировании и ели довольно приличную пищу. Заметив смущение Павла, один из военных привстал и слегка поклонился:

- Вы не ошиблись, молодой человек, прошу к столу. Все мы здесь одного сословия - зеки.

Павел робко переступил порог. Несколько человек, разглядывая новенького, заговорили не по-русски, из чего Павел сделал правильный вывод: тут находились иностранцы.

- За что? - задал традиционный вопрос тот самый военный.

- Христианин я и посадили за вероисповедание.

- Вас только тут и не хватает, - возбужденно вскрикнул один из тех, кто сидел с иностранцами, и тут же что-то сказал своим соседям. Те побросали ложки, с интересом уставились на Павла. Между тем ему начали представлять обитателей комнаты:

- Режиссер из театра имени Мейерхольда. Секретарь обкома партии. Профессор медицины. Директор металлургического комбината. Командир дивизии. Прокурор одной из областей нашей великой империи - ваш покорный слуга, да не удивляйтесь - и мы попали в общую мясорубку. А это, - он широким жестом обвел группку сидящих иностранцев, - наши гости, сотоварищи по пролетарским делам. Лантыш - член Коминтерна, венгр, по-русски - ни слова. Секретарь подпольной коммунистической партии Польши, как и его сосед, - все секретари, все, коммунисты из Литвы, Латвии, ну и другие ознакомьтесь в свое время сами. А теперь мы ждем от вас рассказа - тут мы завели такой порядок, чтобы каждый день читалась либо лекция, либо кто-то выступал на излюбленную тему.

- Только без молебственных предисловий, - бухнул режиссер. - В наше время это действительно атавизм. Более того, я удивлен, как вы могли попасться, зная веяние эпохи.

- Да не скажите, голубчик! - возразил профессор. - Вы узко мыслите о религии, все больше с позиции вашей профессии. А мне даже очень интересно узнать, как сложились религиозные убеждения у этого совсем молодого человека, продукта той самой эпохи. Просим вас.

Павел за стол не садился, мысленно помолился и начал так:

- Когда-то я посещал драматический кружок, участвовал в постановках. И вот я заметил: театральное искусство, как народное действие, хоть имеет свою историю, все же служит предметом развлечения всего лишь горстки зрителей. Народ переживал радости и горе, учился правде, постигал науки, и все их движения записывали драматурги, чтобы потом показать тем же людям истории, произошедшие с другими людьми. Надо сказать, популярное искусство: люди смотрят и Петрушку и трагедии, драмы и комедии. Но чему они учатся? В чем истина этих постановок? А ни в чем - искра, вылетевшая из костра и тут же угасшая, ставшая пережитком, как вы необдуманно отозвались о религии. В чем же заключается истинная вера в Бога? В том, что Бог продиктовал Свои Заповеди таким людям, которые записали их на протяжении многих веков и книгу эту назвали Библией. В ней все: моральный кодекс для народов всех племен и народов, источник мудрости для старых и малых, могущественный рычаг всего благого, в том числе и научного прогресса. Библия стала солью человеческого общества и никогда не превратится в пережиток, потому что эту истину нельзя пережить, это невозможно, это просто непосильно человеческому разуму. И отнести веру в разряд пережитков, как вы позволили себе выразиться, причислить меня к горсточке отживших свое богомольцев нельзя. Я принадлежу к величайшему,

неисчислимому обществу христиан, имеющему свою совершенную организацию, построенную на принципах духовной веры. Эти принципы нельзя навязать, их нельзя изменить - они или есть или их нет. Вот к народу Божьему я и принадлежу. А теперь оборотитесь на себя, послушайте мои наблюдения без обиды и пусть они станут для вас зеркалом, в котором вы сможете увидеть самих себя. "Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая как цвет на траве, засохла трава и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает во век. А это есть то Слово, которое проповедано вам" (I Петр. 1:24-25).

- Ай да молодец! - восхищенно воскликнул военный.

- Bravo! Такого я еще не слыхивал, - режиссер прижал руки к груди в знак признания своего поражения. - Махом смели в кучу отживший, выброшенный хворост, осталось нас только поджечь.

- Это сделают другие, - впервые подал голос директор предприятия.

- Нет, но какой молодец! - Это не я молодец, - тихо заметил Павел. - Я не свое сказал вам, я сказал вам слова из Евангелия.

В комнату заглянул дежурный:

- Владыкин? Ошибочка вышла - с вещами на выход!

Никто не проронил ни слова: столь неожиданным было появление тут этого молодого человека, и столь же неисповедимыми путями увели его от них. Лишь комдив, после долгой паузы, с грустью отметил:

- Действительно, есть чудеса на свете. Пролетел над нами, как метеор, осветил нашу жизнь и... куда его теперь? На что нам рассчитывать? Как минимум десять лет. Веру в Бога мы потеряли давно, вера в нашу действительность кончилась только сейчас, вот за этими железными воротами.

- А вы заметили, как он вышел? - режиссер изобразил на своем лице нечто вроде радости. - Он же вышел сияющим!

- Он верит и верю все побеждает, - заключил комдив.

- Еще вчера мы утверждали, что мы - боги, все нам подвластно, все переделаем, а сегодня деревенский пастух счастливее нас, - завершил секретарь обкома.

Павла же провели между рядами колючей проволоки и определили в грязный барак. Тут все гудело от многолюдья, кто стирал, кто латал бельишко, а кто просто слонялся, разыскивая земляков. В уголке пристроился сапожник, к нему уже подобралась очередь, вокруг шныряли воришки, присматривая, что бы стащить у зазевавшегося зека. Одно преимущество и было у этого Вавилона: отсюда прекрасно смотрелась бухта Золотой Рог. Павел долго любовался кораблями, бороздившими воды океана. Посредине застыло огромное судно. Едва заметный дымок вился из трубы.

- Любуешься "Джурмой"? - послышался голос. Павел оборотился: сухонький, точно выжатый лимон, улыбающийся человек незаметно подобрался сзади. - Не пришлось бы и нам поплавать на ней, а, молодой человек?

- Да, вы угадали - я впервые вижу корабли и море. Что ж касается того, суждено ли нам плавать на нем, на то есть воля Всевышнего.

- Да вы не верующий ли часом? - пытаюсь заглянуть в самое лицо Павлу, спросил незнакомец.

- Да - я баптист.

Сморщенное личико незнакомца просияло внутренним светом, он ухватился обеими руками за Владыкина.

- Тогда приветствую вас, дорогой брат, именем Иисуса Христа, Господа нашего. Из какой же вы общины будете?

- Да я только покался, а крещения еще не принимал, арестовали. Теперь только Бог знает, как оно будет впереди.

Тут к ним подошли еще двое - они поздоровались с собеседником Павла, тот в свою очередь назвал их братьями. С великой радостью, после двухлетнего одиночества, обнял Павел братьев по вере. Какими желанными показались ему эти люди! Ему сообщили, что в зоне томится немало

верующих, один из них сапожник (Павел успел заметить его), есть и в других бараках, в женских страдают сестры, но общение между ними невозможно из-за строгой изоляции. Решили своим числом устроить трапезу любви, что и исполнили немедленно. Среди собравшихся Павел оказался самым юным. Начались расспросы, разговоры лица светились радостью, уныние, казалось, навсегда покинуло этот уголок барака.

В пересыльном лагере оказались белорусы и украинцы, немцы и русские, и все наперебой старались услужить друг другу подобно Павлу замечал в далеком 1933 году в Архангельске. Павел стал прикидывать, чем бы и ему поделиться с братьями. К сожалению, в чемодане лежали лишь арестантские штаны да синяя сатиновая косоворотка. Одеты же братья были весьма бедно, все латаное-перелатаное. Поспешно потянулся за чемоданом, взял в руки косоворотку, вспомнил, что бабушка дарила ее к празднику, это единственная вещь, напоминающая ему о доме, тут же она изотрется моментально, да и все равно после завершения этапа выдадут новую одежду. Так подумал Павел и отложил было рубаху, отдав штаны самому нуждающемуся, но, перехватив ищущий взгляд одного из братьев, зябко кутавшегося в остатки рубахи, лохмотьями свисающие с плеч, осудил себя. Осудил и подумал: "Видно, я еще не таков, как учит Христос. Мне нужно учиться самому великому - возлюби ближнего, как самого себя!"

Победив себя, без колебаний отдал косоворотку. Многие из братьев провели в узах по несколько лет, они показались Павлу настоящими героями веры, эдакими дубами, над которыми пронеслись лютые ураганы. Во всяком желании ободрить друг друга, поделиться последним, сказать ласковое слово, виделось Павлу истинное братство. Да и они в свою очередь воспринимали Павла как равного, внимательно слушали его рассказ о личных переживаниях.

Пятитысячную толпу согнали в одно место, началась перекличка, вызов тех, кого отправляли сегодня на "Джурме". В волнении зеки кидались от одной группы к другой, пытались избежать участи быть отправленным на Колыму. Владыкина вызвали уже в сумерках. Как ножом отрезало прошлое, новое будущее - о, сколько этой "новизны" испытал Павел за два года! колыхалось вон там, в бухте, подавая о себе сигналы звучным гудком. Держись, Павел!

На причале зачем-то еще раз напомнили вечное правило зека: "шаг влево, шаг вправо... стрелять без предупреждения". Будто скотину, лавиной погнали по сходням в трюм, через узкий люк, в темноте, среди брани и зуботычин. Очутившись в гулком железном чреве парохода, Павел невольно сравнил себя с Ионой и, продолжая сравнение, сам стал усердно молиться Господу о спасении. Кое-как пристроился на чемодане - вытянуть ноги не было никакой возможности, но опытные зеки успокоили его тем сообщением, что им еще предстоит перегрузка на "Джурму" - океанский корабль, на котором они доберутся до места.

На "Джурму" поднимались по зыбкому трапу, на палубе никому не давали остановиться, часовой толкал в спину и однообразно рявкал: "Проходи!", заключенные проходили к трюму и так же, как вчера, спускались глубоко вниз, в самое чрево корабля, заполняли твиндеки, подыскивали себе места и затихали, утомленные, издерганные, голодные, напуганные.

Павел втиснулся на второй ярус, подстелив единственное, что у него осталось ценное - ватник под голову. Под потолком тускло светилась лампочка. Параша - на месте. Урки, как водится, сгуртовались кучей.

На паек и воду роздали специальные жетоны. Их было несколько, видимо, из расчета нескольких дней пути. Интересно, сейчас они плывут или все еще болтаются на рейде? Павел хотел подняться на палубу, оказалось, вход охраняют. Но вскоре сверху привели еще одного зека - Павел узнал в нем одного из пятидесятников - Ивана Михайловича - и он сказал, что корабль давно вышел в открытое море, наверху день и уже выстроилась очередь за пайкой, поэтому твиндек охраняют, чтобы не создалась толкучка.

Ждать им пришлось долго. Наконец, выпустили, Павел прикинул - стоять не меньше часа. Но стоять тут, на свежем воздухе, или ждать внизу, в зловонии от потных тел, среди разноголосых выкриков и блевотины, вызванной морской болезнью, разница великая. Смирненно прислонился Павел к лееру мимо пронесли на брезенте скончавшегося от невыносимого пути.

На девять дней пути дали ржаных сухарей и несколько селедочек. Матрос черпаком разливал пресную воду, вся раздача пайка проходила по соседству с туалетом, нависшим над морской пучиной - кстати, и туда выстроилась очередь, что удивило Павла, а ему растолковали: хоть пять лишних минут на свежем воздухе.

Конец мая на Японском море сильно смахивал на начало марта в городке, где вырос Павел: ледящий ветер (недаром же говорят в народе: "Пришел марток надевай семеро порток") до того выхолаживал разгоряченные тела арестантов, что они зябли мгновенно и тут же искали прикрытия хоть за жидким брезентом туалета.

К концу четвертого дня почти половина твиндека лежала влужку: морская болезнь, затхлый нездоровый воздух, скудное питание сделали свое дело. Умерших выносили ночью, привязывали груз и сбрасывали в морскую пучину. Тут и заканчивалась человеческая жизнь, лишь корабль кратким гудком сигнализировал об отходящей в небеса душе. Жутковато становилось ночью, когда "Джурма" почти непрерывно подавая басовитый гудок, упрямо плелась в края вечной мерзлоты.

Прошло еще два дня пути. Однажды Павел услышал из дальнего угла твиндека нежную мелодию флейты. Павлу показалось, что он сходит с ума: несколько голосов тихонечко пели: "Ближе, Господь, к Тебе". Мелодия знакомая, а вот слов не разобрать. Ну точно - он сходит с ума. Павел ущипнул себя - больно, значит не спит. Тогда что же это? Он спустился вниз, направился в тот угол, откуда доносились голоса. Уже приблизившись, догадался - пели немцы. Это была группа меннонитов. На ломаном языке кое-как объяснились - Павел почувствовал необычную радость и духовную поддержку. Несколько часов Павел наслаждался общением, братья чувствовали взаимное влечение. Расстались перед сном, но и у своей койки Павел в краткой молитве поблагодарил Господа за дарованную ему радость от встречи с братьями.

Выпускали редко, но зато какое это было удовольствие: дышать свежим воздухом, услаждать свой взор созерцанием угрюмых пенистых валов, разбегавшихся от корабля в разные стороны, завидовать чайкам, вольно стригущим воздух над мачтами корабля. И как мерзко опускаться в железный ад, то и дело взрывающийся гадостными проделками блатных. То они опрокинут парашу и зловонная жижа расползется по всему твиндеку, заставляя содрогаться от ужаса и вони - все это, конечно, к вящему удовольствию подонков-блатарей - весь первый ярус, обитателям которого некуда даже поджать ноги. Уборка длилась несколько часов, убрали все те же несчастные жертвы, в то время как урки лишь насмеялись.

То вдруг ночью все подхватились на своих нарах - где-то рядом неистово визжала женщина, да так, что всем казалось режут человека. Что же там оказалось? Урки догадались, что через перегородку - бабы.

Тут же изобретательные блатари прорезали - это надо же: толстые доски! - перегородку, разделяющие твиндеки и вытащили одну женщину. С той и другой стороны набежал конвой, мужиков еле растащили.

Девятая ночь для Павла превратилась в ночь постоянного бдения: всю ее он провел на коленях, в молитве, ибо силы иссякали, едва ли не все его соседи отправились на дно, а "Джурма" почти не умолкала. И вот наутро он почувствовал, как изменилось дрожание палубы, сверху крикнули: "По одному, с вещами!" - корабль пришел к месту назначения.

Это случилось в начале июня. Как на ладони раскрылась перед Павлом Ногаевская бухта, забитая колотым льдом. "Джурма" пробиравась буквально сантиметрами. От берега круто вверх поднимались бесчисленные бараки за колючей проволокой. За ними начинался Магадан. - Боже мой, Боже мой! Я не знаю, что меня здесь ожидает, не знаю-вернусь ли из этих мест или стану ждать в вечной мерзлоте Твоего пришествия, но во всем полагаюсь на волю Твою. Ты ведешь меня на великий и неравный бой не только с этой дикой природой, но и с такими же людьми, и я верю, что когда-нибудь настанет день моего избавления. Каким и когда он будет? Это знаешь только Ты, Господи! Прошу Тебя - сохрани веру во мне, сохрани твердость во мне, сохрани меня, Господи!

- Владыкин! - донеслось от трапа.

Павел с трепетом сделал свой первый шаг с корабля в новую, страшную неизвестность

Последние дни Петра Никитовича Владыкина

Глубокая скорбь охватила сердце Петра Никитовича после расставания с сыном. Давно уже скрылся Павел за углом здания, а ему все казалось: вот сейчас он вернется, и хоть на миг он увидит опять живые, выразительные глаза сына, и надежда снова согреет сердце... Увы, из-за угла выходили совсем другие, чужие ему люди. Поняв, что ждет напрасно, отец медленно вытер набежавшую слезу и воротился в дом.

К вечеру тяжелое предчувствие заполнило душу Петра Никитовича: в неясной тревоге он то подходил к окну, стараясь угадать среди прохожих фигуру Павла, то, совсем теряя надежду, бессильно приваливался к спинке стула, тяжело опускал голову.

Вдруг позвонили. По-чужому: свои так не звонили. Сердце Петра Никитовича тревожно сжалось. Шагнул к двери, нащупал в темноте крючок, звякнул щеколдой. На крыльце ежилась незнакомая фигура.

- Вы отец Павла? - у незнакомца оказался быстрый, глуховатый шепоток. Не дождавшись ответа - а может, был уже кем-то научен! - зачастил скороговоркой: - Мы с Павлом работаем вместе. Мой долг - предупредить вас. Павла еще утром вызвали в отдел кадров, и до сих пор нету. Мы думаем, его арестовали. Простите, что огорчаю. Это печально, печально, очень, да... Мы все его ценили. А полюбили, в особенности после выступления в клубе...

Незнакомец вдруг смолк на полуслове, боязливо оглянулся, неловко взмахнул рукой, будто в прощальном жесте, и, скоком свалившись с крыльца, растворился во мраке.

Петр Никитович оцепенело выслушал сообщение. Долго стоял потом на крыльце, безучастно разглядывая тьму, проглотившую незнакомца. Наконец с мольбой возвел глаза к небу:

- Господи! Сохрани дитя мое среди ужасов...

В комнате без сил упал на колени и долго, усердно молился о судьбе сына.

Поздней ночью со смены прибежала Луша и, обливаясь слезами, по-бабьи подвывая от горя, подтвердила известие об аресте сына.

Ночь провели почти без сна. Становилось ясно: со дня на день могут нагрянуть сотрудники НКВД. Пришли к выводу, что Петру Никитовичу следует на время скрыться. Однако где найти такой уголок?

Тут-то и вспомнили о Тамбове...

(Вскоре, действительно, дом Владыкиных обыскали самым тщательным образом, кроме Библии, изъяли почти всю духовную литературу, что с таким усердием приобретал Павел. Ничего из отобранного не вернули, но, как бы Владыкины глубоко ни скорбели, как бы ни расстраивался сам Павел, находясь уже в тюрьме, предстояли события еще более ужасные.)

В Тамбове начальник милиции, позевывая, сообщил Петру Никитовичу, что как раз в этом году ссылка его закончилась. Шел 1935 год.

Петр Никитович выправил новый документ, но возвратиться к семье не торопился. Тому была причина: оказалось, что и поныне он не имеет права жить в своем доме. Шесть лет скитания, а воз и ныне оставался там же. Снова пришлось подыскивать жилье. Нашли сельцо, километрах в тридцати от города. Здесь была старая община, и, хотя многие члены братства помнили Петра Никитовича еще с 1929 года как самого дорогого и любимого брата, сердце его неизменно принадлежало своей, Н-ской общине. Без пастыря братья переносили лишения, более шести лет Церковь находилась в рассеянии. И многое надо было начинать заново. А перемены произошли разительные. Василий Иванович Ефимов, в прошлом самый близкий сподвижник Петра Никитовича, женился на молодой сестре и подался в город. За ним последовала и семья Кухтина. Кое-кто просто боялся высунуть нос наружу. Трудно, но все-таки... Петр Никитович, доверив дальнейшую судьбу общины в руки Божии, начал собирать общину сызнова. Неустройств

оказалось выше головы: помещения для собраний не предоставляли, регент давным-давно покинул хор, рассеялись и проповедники, из молодежи осталась только Вера Князева. С любовью и верою в душе стали Владыкины возвращать братьев и сестер в свой дом. Особенно благословенным оказалось первое собрание: вспомнили дни возникновения общины, время, когда ютились в подвале у Князевых, припомнили и запели свою старинную, любимую: "Сидел Христос с учениками". Встрепенулись души, просветлели лица, а когда дошли до слов:

...Не ужасайтесь, не ропщите,

В то время дети вы Мои,

Мученья твердо вы сносите

Во имя правды и любви...

то у многих полились слезы умиления.

Петр Никитович произнес проповедь. Живое Слово вызвало у многих слезы раскаяния, особенно ободрились духом Вера Князева и ее мать Екатерина Ивановна. Один из братьев вызвался собрать остатки хора.

Вскоре Петра Никитовича рукоположили в Москве на пресвитерство. Церковь заметно приободрилась. Правда, собрания по-прежнему проходили в доме у Владыкиных, но на них стало многолюднее, часто задерживались после богослужения для разбора Слова, на смену Павлушке - под этим именем многие запомнили Павла Владыкина - с чтением стихов вставляли его сестренка и братишка - Дашенька и Илюша. Появилась надежда на возрождение, к этому времени подоспело и письмо Павла, отправленное из заключения. Оно произвело на всех глубокое впечатление.

Нелегкими оказались эти годы (шел уже 1936-й), наступило время великих скорбей: власти изъяли многих верных служителей Союза евангельских христиан баптистов, стали собираться тучи и над Н-ской общиной.

Однажды старец-пресвитер предупредил Петра Никитовича:

- Брат, все мы искренне любим тебя, сознаем и тяжесть твоих лишений, радуемся и благодарим Бога, что страдания не сломили стойкость твоего духа. Но, сострадав тебе и учитывая твой пройденный путь скорбей, я предупреждаю тебя: поберегись! Нам стало известно, что за тобой следят из НКВД. Будь осторожен и осмотрителен, когда приезжаешь к нам в село. Не забывай об этом и дома. Может, даже на время подождать, так открыто не появляться, не проповедовать. Тут, - он замаялся, подыскивая слова, - некоторые уже спрашивали тебя...

Отметив про себя эти, выделенные интонацией слова: "некоторые спрашивали", и догадавшись, откуда ветер дует, Владыкин твердо ответил пресвитеру:

- Брат, ведь я дал обещание служить Господу и делать это не только в благоприятных условиях, но всегда и везде. Вот когда я был картежником и шулером, пьяницей и драчуном, так не боялся, что сама смерть по пятам ходила за мною. Теперь же я - слуга Божий, и делаю то, на что Он понуждает меня. Замолчать я не смогу. А за предупреждение благодарю Бога и вас. Учту ваши советы.

Почти в те же дни получил он подобное предупреждение и от своей Церкви: как-то прибежала Вера Князева и, сбиваясь в торопливой речи, рассказала, как ее вызывали в НКВД, как дотошно расспрашивали о нем. Решили, что для сохранения общины разумнее всего Петру Никитовичу временно скрыться. Вернулись в село. Луша оставалась с ним. В один из базарных дней решили продать кое-что из сапожного ремесла. Уже в конце дня подошли к ним "покупатели" - для Петра Никитовича свои люди, верующие. Один из них низко склонился над обувкой:

- Брат, с утра наблюдаем за вами... многое видим. Все сердце за вас изболелось. Посмотрите - за вами же следят. Во-он, за тем возом двое... Один - из нашего НКВД, другой, в кожанке, чужак. Берегитесь их!

Спешно собрали вещи, постарались затеряться в толпе, вышли на станцию. На перроне народу видимо-невидимо. "Ну, пронесло!" - мелькнуло у обоих. Не тут-то было: садясь в вагон, Луша успела заметить кожанку - тот прыгал на ходу.

- Бегут за нами враги-то, - сказала Луша. - Никак, по вагонам искать тебя станут.

Сердце у Петра Никитовича съежилось от смертельной опасности. Но что им оставалось делать? Можно, конечно, сигануть на ходу с поезда, так ведь Лушу-то не оставишь! Утешив ее Господом, тихо помолился и предложил:

- Уже смеркается, ты шубу-то распахни, а я пересяду за тебя по ту сторону да пригнусь пониже, вот и сохранит Господь... Не успели совершить замысленное, как в дальнем конце вагона резко распахнулись двери. Расталкивая пассажиров, отбрасывая мешки в сторону, пробежали те самые кожанка и тип из НКВД.

- Владыкин! Владыкин! Все равно отыщем! Сказывайся!

Петр Никитович пригнулся за Лушей низко-низко.

- Отзовись, Владыкин, все одно поймаем!

Господь хранил их и в этот раз: остались незамеченными. Подъезжая к городу, спрыгнули на ходу, домой вернулись дворами.

Обстановка в городе ожесточилась до чрезвычайности: за многими домами верующих была установлена слежка настолько тщательная, что нечего было и думать о собраниях. По двое-трое собирались на окраинах, в тесных, душных комнатухах. Хоть и в тесноте, под страхом, но, сходясь за чтением Слова Божия и горячими молитвами, христиане оживлялись душой. Дороги были им эти общения, каждая строка пропетого гимна западала в души, каждая проповедь была как бальзам на скорбящее сердце, каждая молитва как глоток свежего воздуха среди смрада. Под влиянием Слова Божьего исподволь прекратились тяжбы друг с другом, утихли споры, и каждый христианин увидел в брате близкого, родного и желанного человека.

Петру Никитовичу советовали поменьше ходить по городу и за лучшее посчитали, что он станет посещать верующих по деревням. К Владыкиным же братья и сестры заходили крайне редко и то - если только понуждала к тому острая необходимость.

Остерегаясь слежки, Вера Князева условилась встречаться с Владыкиным на городском базаре. На очередном свидании она и поведала о том, как часто вызывают ее в НКВД на допросы, усиленно вымогают от нее хоть каких-то сведений о жизни общины и, в особенности, о нем. Выслушивая то заманчиво-обольстительные посулы, то леденящие душу угрозы, сестра вообще перестала отвечать на их вопросы, стала избегать преследователей, тогда те стали подстерегать ее на улице. Скорбь сгущалась над домом Владыкиных. Из тех редких писем, которые Павлу удавалось передать на волю, становилось все более очевидно, что и сыну не легче, чем отцу. Как могла, старалась Луша успокаивать сына, усердно молила Господа о заступничестве и всякое возвращение супруга в дом готова была расценивать как чудо. Дошло до того, что стало ходить небезопасно и по селам. Выискались и доброхоты из НКВД, предатели, и, что особенно досадно - не только из среды неверующих, но и из числа братьев. Не раз приходилось Петру Никитовичу спасаться бегством от преследования: то на подводе в темную глухую ночь, то по колено в снегу отыскивать тропку, а то и запутывать следы или отлеживаться в попадавших на пути сараях. Но, благодарение Богу, после минувшей опасности в сердце крепло чувство веры, и душа стремилась и дальше нести свет евангельской вести. И все же нет-нет, да и возникал вопрос:

- Как же будет дальше?

Петр Никитович частенько припоминал свою прошлую греховную жизнь с ее рискованными подвигами. Удивительно, но никто не преследовал его в те времена, хотя сам он был способен сотворить немало худого. И вот уже больше восьми лет со своей семьей переносит немислимые мытарства, но за что? За одну только проповедь Евангелия, с которой выступает против греха и тьмы. Мыслимое ли дело? Неужто отнимут у него благодатную радость посещений тех семей, где ждут его как вестника Божия? Неужели пришли те страшные времена, о которых предвещал когда-то брат Федосей на сенокосе? Неужели и на улицах родного города никогда не будет раздаваться христианское песнопение? Как долго будет длиться беззаконие?

В таких размышлениях стоял Петр Никитович у окна, поглядывая на апрельскую слякоть. Вдруг клацнула дверная задвижка, заскрипели выскобленные половицы. Вошла Луша, сбросила ворох высушенного белья, подняла на мужа побелевшее лицо:

- Петя! Тут с самого утра против дома торчит какой-то тип. Думаю, что из этих... То походит, то газетку почитает... Я за ним наблюдала, давно тут мается. Может, приглядеть тебе, как уйти, а?

- Эх, Луша, коль уж пришел наш час, то куда мы денемся? Бог ведь тот же, что вчера и сегодня, и нам с тобой себя уже не изменить. Раз пошли за Господом, не станем оборачиваться назад. Луша нежно обняла супруга. А он продолжил:

- Я в эту ночь сон видел. Очень короткий. Будто бы подходит ко мне человек из НКВД... в кожанке будто... и так крепко-крепко приветственно жмет мне руку... точно своему. Проснулся я... лежу, думаю: теперь сомневаться не приходится, видно настал час скорбей.

-Ой, Петя, забыла, я ведь тоже сон видела. Подожди, дай Бог памяти. Ну вот, вспомнила: вижу во сне плашкоутный мост через речку, наш мост, и ты бежишь по нему от какого-то человека. Смотрю, враг твой в белой рубашке, а перепоясан черным поясом. Сердце заныло, вижу: догоняет он тебя, да ка-ак размахнется, да ка-ак ударит из всей силы ножом... в спину. А ты так и повалился на землю. Боюсь!

- Ну что ж,- только и вздохнул Петр Никитович,- давай помолимся, дорогая. Пригласив жену к молитве, Владыкин упал на колени и усердно молился, чтобы укрепил Господь его в страданиях и поддержал бы остающуюся семью. И за Павла молился, просил, чтобы сын его остался верен Господу до конца и чтобы если приведется им встретиться, то встреча эта была бы благословенной для них и славной для Господа. И Луша молила Бога: если и суждено оставаться ей одной, то остаться в сердце верной христианкой и детей своих привести ко Христу.

- Попробую теперь выйти, - Петр Никитович стал одеваться. - Если нет никого, то дай Бог пути, а уж если сторожат меня, то не миновать их рук, пойду навстречу врагам.

- Нет, Петя, надо не так! - запротестовала Луша - Выйду я вначале, осмотрюсь хорошенько... вроде по своим, бабьим делам - до магазина дойду, улицу высмотрю... Петр Никитович согласно кивнул головою. Луша собралась мигом.

- Ты вот что, Луша, - попросил Петр Никитович, - сходимка на базар, прикупи грибочков, страсть, как захотелось покушать грибочков.

У Луши заныло сердце: хоть и обыкновенная просьба, а вроде как перед концом муж захотел грибочков откусать. Даже подумала, что последний раз она здесь, на земле, ухаживает за мужем. Торговка засуетилась перед Лушей:

- Вот, самые лучшие, последние, сама б поела, да нужда заставила.

Луша набрала целую корзинку грибов. Поспешила обратно. У самого дома чуть ли не столкнулась с тем же сотрудником НКВД, который делал вид, что читает газету. С деланным равнодушием он отвернулся и сделал вид, что он оказался тут случайно. Но Лушу как будто толкнуло: ведь сейчас, именно сейчас этот наблюдатель должен обернуться. Вот взглянуть бы ему в глаза! И точно - человек этот оборотился. С застывшего лица на Лушу уставились серые, бесцветные глаза, полыхавшие ненавистью. Взгляд невольно леденил душу, казалось, сама смерть смотрит на Лушу, хотя мужчина выглядел обыкновенно, Луша даже хотела сказать ему что-нибудь доброе, может, по-бабьи пристыдить его за такое недостойное занятие, как слезка за невинным человеком, но пустота взгляда остановила ее; Луша поняла, что для подобного случая любые слова бесполезны: эти-то знают, что делают, они не устроятся, они, может быть, уже приняли решение...

Решила обойти весь квартал, чтобы найти пути отступления. И уже подходя к своему забору, придумала план спасения мужа - через пролом в заборе. Отодрала несколько досок, приставила их незаметно. Бедное, любящее сердце! Не знало еще оно коварства врагов: то, что ей приходилось делать впервые, уже было ими предусмотрено до тонкостей, уже таилась засада, уже из окон наблюдали за нею. А Луша, наивно полагая, что она перехитрила врагов, с трудом - ходила на последнем месяце - пролезла сквозь проделанную дыру и заторопилась к дому. Не успела переступить порог, как в дверь грохнули:

- Откройте!

- Петя, за твою душу! - только и выдохнула Луша. Корзинка выпала из руки, грибы покатались по полу. Петр Никитович сильно побледнел:

- Дорогая моя, да утешит тебя Господь! Мы сделали для Него все, что могли, и не нами начинается мученический путь христиан. Мы его уже заканчиваем, Боже мой! Обниму ли я свою жену когда-нибудь еще здесь, на земле? Если не суждено тому, обними Ты ее своими благословениями. Будь милостив к ней, если упадет она от непосильной ноши. Если уж пришел конец моим скитаниям и служению моему, то пусть Твои благословения вдвое-втрое починут на сыне моем. Сохрани дом мой на многие годы и в благополучии, тогда, когда вокруг распространятся бедствия. Будь милостив и к малюткам моим, и к тому дитяти, которое должно родиться. Теперь же я в воле Твоей, и не как я хочу, но как Ты. Аминь!

- Петя,- тревожно зашептала верная жена Петра Никитовича. - Пока я с ними буду говорить, иди во двор и спасайся: там отбила несколько досок, во дворе нет никого.

С улицы непрерывно колотили в дверь. Луша заголосила:

- Он, да кто там безобразничает? Кого вам надо?

- Открывайте, - грубый голос сопровождался усиленным стуком, - это из НКВД.

- А у меня НКВД делать нечего, - продолжала тянуть время Луша, - Я одна и никому не открою. А вы ступайте во-он туда, где грабят и воруют, убивают и обманывают. Нечего пугать моих детей!

- Открывайте, вам говорят, - уже хрипел раздраженный голос. - Иначе будем ломать двери!

- А у меня НКВД делать нечего, - стояла на своем Луша. Недостойна я вашего посещения. Хотите ломать - ломайте, но я вам не открою.

На мгновение за дверью стихли, вдруг послышался шум с другой стороны, стукнула задняя дверь, только что выпустившая Петра Никитовича, и вот он сам, в сопровождении преследователей, втолкнув в прихожую, Лушу отбросили в сторону, кто-то из ворвавшихся откинул крючок, теперь и те, с крыльца, оказались в доме. При виде целой толпы разъяренных мужчин, заревели дети.

Один из оперативников, видимо старший, попытался успокоить детей и Лушу:

- Да не ревите вы! Не плачьте - ничего вам не будет, мы только посмотрим, что тут у вашего мужа хранится в доме. Зачем шум поднимать, и мужа вашего отпустим...

- Зачем вы врете? - сквозь слезы выкрикнула Луша. - Не для того вы день и ночь сторожили нас и гонялись по пятам за мужем, чтобы отпустить его... Ишь, уцепились, ровно бандит перед вами. Да отпустите вы его, куда он убежит-то! Вас тут полон дом!

Двое, державших Владыкина за руки, отошли в сторону. Старший подвинул Петру Никитовичу стул и кивнул остальным. Те привычно принялись за обыск. Владыкин горестно покачал головою:

- Эх вы, люди! До чего только дьявол довел вас! Подкарауливаете бедного, полуграмотного человека, средь бела дня врываетесь в его дом, чтобы схватить и отнять от этих малюток. Да при этом еще и оправдываетесь: мол, не за Бога арестовываем!

- Да не за Бога! - огрызнулся старший.

- А за кого же вы арестовываете? - встряла Луша - Вон смотрите: лежат топоры, лом, колун, ножи всякие... что-то за них вы не хватаетесь, а сразу уцепились за Библию, чтобы только отнять у нас...

- Но-но, Владыкина! - грубо прервал старший. - Наговоришь на свою голову! Как бы и тебе не пришлось идти вместе с мужем!

- А вы мне рот не закроете! Самое страшное уже сделали: отняли отца у детей, теперь осталось еще и мать отнять... сиротами сделать малюток, по приютам отдать...

Тем временем обыск кончился. Добыча оказалась скудной: Библия да несколько христианских журналов.

- Пошли! - с досадой приказал Владыкину старший. Тот поднялся, на обмякших ногах обошел домочадцев, растерянно обнял всех, поцеловал, вытер слезы и пошел вон из дома. Луша выскочила за ним на крыльцо. Совсем недавно с этого крыльца отец смотрел, как уводят его сына, теперь пришел и его черед.

Набежали соседи. Сочувствовали, утешали, рассказывали, что давно усмотрели слежку, показывали на сарай, где работники НКВД оставляли своя велосипеды. Луша будто окаменела. Прекрасен цветущий май! Все вокруг так и дышало свежестью зелени, веселое щебетание пташек наполняло цветущие сады, солнечные блики игриво плескались в дождевых лужах. Но могли ли

красоты оживить застывшую в скорби душу Владыкиной? Пришло время родить, одна-одинешенька поплелась в родильный дом. Девочку назвала Маргаритой.

Шел уже июнь 1937 года. Ни одной весточки от мужа. Навела порядок в доме и, все еще чувствуя непомерную слабость, побрела в милицию. Как и в прошлые времена - о муже ни звука. Точно так же, как и восемь лет назад. Время течет - нравы врагов не меняются. Кинулась по начальству - тщетно. Без сил опустилась на скамейку. Тут вышел дежурный. Издали присмотрелся к плачущей Луше.

- Что у вас случилось? Отчего плачете? Начальство-то в эту пору уже дома отдыхает.

Луша рассказала все как есть. Посетовала, что толку от ее жалоб никакого.

- А как звать, мужа-то?

- Владыкин Петр Никитович.

Объяснила, как выглядит муж. Милиционер робко оглянулся, сочувственно поглядел на грудничка, присел рядом.

- Никто тебе тут ничего не скажет, - озираясь, тихо заговорил дежурный. - А муж ваш тут, в милиции. В особой камере. Числится не за нами, а за НКВД. Сам начальник его допрашивает. Только смотри, не проболтайся. Человек-то он больно хороший, муж ваш... я и раньше его знал, и тут он такой же - все молится. И сына вашего знаю - бедовый парнишка, а уж что до слов, то и начальство с ним управиться не сумело. Сейчас ваш муж в той же камере, где и сын сидел. И вас помню, как вы за сына спорили у начальства. Так вы вот что сделайте. Утром пораньше придите, я перед сменой на opravку арестованных выведу, вот здесь станете, за дверью, увидите его, перекинетесь словом. А сейчас домой идите, попусту не бейтесь, все одно не скажут. И не покажут никогда! - с неожиданной твердостью закончил милиционер.

Луша пропустила мимо ушей это злое предостережение.

- Спасибо тебе, касатик, пусть Бог воздаст за твою доброту. Сделаю, как ты велел. А теперь-то передатку нельзя передать ему, а? Весь день с узелком болтаюсь, Смерть одна, как руки гудят...

Милиционер довольно неохотно согласился выполнить просьбу, но вернулся скоро:

- Сказал я ему, - шепнул он. - Завтра, утром, за дверью... Утром, чуть свет, Луша была на ногах.

Приготовила еды, побежала в милицию, встала в указанном месте. Милиционер уже начал свое дело с первыми камерами. Тут Луша увидела, как по коридору, из полумрака к ней медленно шел арестант. Сердце екнуло - она узнала мужа по полосатой куртке, измятой, пожелтевшей от тюремной грязи. На осунувшемся, обросшем лице Петра Никитовича тем не менее застыло выражение блаженства. Луша тихонько окликнула его. Владыкин остановился, прижмурился: свет бил прямо в лицо,

- Луша!

- Петя!

Милиционер деликатно отвернулся.

- Покажи дочурку. Как назвала?

- Маргаритой. На, поддержи малютку.

Забыв все предосторожности Луша высунулась из-за дверей, сунула драгоценный сверток в руки мужа. Петр Никитович взял на руки дочь, сосредоточенно заглянул ей в лицо. Потом возвел очи к небу:

- Боже мой, Боже мой! И эту жертву отдаю Тебе. Будь милостив.

А Луше скороговоркой добавил:

- Следствия и суда не было и не будет. Склоняют отречься, но Бог сохранил меня. Вере передай - пусть остерегается...

Тут милиционер понудил его идти дальше, Луша даже не успела обнять его, только крикнула вдогонку:

- Когда же ждать тебя?

Петр Никитович обернулся через плечо, с усилием выдавил:

- У ног Христа.

В тот же день Луша узнала, что кроме ее мужа были арестованы еще четыре брата и среди них регент. Ни передач, ни свиданий не разрешили. Не было даже известно, где их содержали. А спустя два месяца, после настоятельных жалоб, Луша узнала:

- Все они осуждены без права переписки.

В то время Луша еще не знала зловещего смысла этого приговора. Прошло еще больше года, и перед одинокой, всеми забытой, задавленной горем женщиной, оставшейся с тремя детьми на руках, легло еще одно сообщение: "Ваш муж умер от воспаления легких".

Петр Никитович Владыкин, как верный свидетель Божий, закончил свою жизнь в неволе, прославив Бога мученической смертью. Один Он знает, где находится его безымянная могила. Колыма

В черной мгле сокрыт

Путь суровый мой,

Но вдали горит

Огонек живой...

Мрачные предчувствия сковали душу Павла Владыкина, как только он ступил с "Джурмы" на берег. Могильным холодом повеяло с сопок, все еще укрытых снегом, хотя начинался июнь. Жадно лизали воды залива песчаные берега бухты Нагаево, забрасывая их сгнившими водорослями и белым, точно кости, плавником. Прижимаясь к скальным обрывам, по крутому каменистому берегу извилистая лента дороги уводила от порта к Магадану. По этой дороге длинной вереницей растянулись колонны арестантов: в город, на пересылку...

Сразу же за перевалом запестрели кубики рубленых бараков, склады, избушки, заводские строения; изрезанный траншеями и рвами, извилистым лабиринтом узких и грязных улиц выростал город, надвое располосованный Колымским шоссе.

На пересылке сводили в баню, дали кое-чего из лагерной амуниции, отобрав при этом - под разными предложениями: за кусок хлеба, а то и просто так - что получше из личной одежды. Наутро человек двести посадили в грузовики - хоть какое-то облегчение! - и привезли в поселок Хаттынах, где располагалось северное управление. Оттуда распределили по приискам. Владыкину выпал Штурмовой, по слухам, одно из самых скверных мест на Колыме. Путь предстоял пеший и довольно тяжелый. Конвой не разрешил брать с собой ничего лишнего. Многие, несмотря ни на что, прихватили чемоданы, обувь, одеяла, но все это уже через несколько дней было брошено обочь дороги: тут и там валялось нехитрое арестантское барахлишко, этапники едва передвигали ноги. Конвой с яростью набрасывался на отстающих, одного из таких доходяг избили до полусмерти: бедняга только громко стонал под ударами. Как только он затих, конвой отшвырнул тело на обочину дороги. Клацнули затворы... Павел в ужасе закрыл глаза. Сосед его, старый, немало повидавший на своем веку арестант, проворчал в бороду:

- Сейчас не пристрелят... Сзади идут оперативники с собаками, - так это уж их добыча.

- Как? - удивился Павел. - Неужели не возвратят в колонну?

- Э-э, какой наивный: поднять-то, может, и поднимут, да только возвращать им нет резону... Ты вот слушай: как стрелнут, считай пришло несчастному избавление от этой жизни. Оперативнику еще и награда за поимку беглеца... Если б не так, тут вся колонна села бы на дорогу.

Спустя четверть часа в самом деле до него донесся слабый звук выстрела - кое-кто из этапников молча обнажил голову.

"Такой вот и путь христианина, - думал Павел, угрюмо ступая след в след за бородатым соседом, - сколько их - не дошедших до небесной страны!" Подъем становился все круче, арестанты уже не шли, а буквально карабкались в гору. Кто-то не выдержал, забился в истерике:

- Стреляйте лучше всех здесь, чем по одиночке! Садись, хлопцы!

Сесть не дали: старший из конвоя рассудительно заметил:

- Не бунтуйте, хуже будет. Через километр выберемся на перевал, там пообедаем. Оттуда дорога пойдет вниз, будет полегче...

Еле скрывая свое раздражение, арестанты все ж таки снова стали в колонну. Действительно,

вскоре открылся перевал. Ноздреватый снег здесь не сходил годами. Солнце уже закатилось за сопки, бледно-зеленые лучи его догорали среди редких облаков полярного неба. Долина погружалась в полумрак, кое-где внизу вспыхнули электрические огни. Сразу же за перевалом начинались поселки ключа Штурмовой: Энергетический, Верхне-Штурмовой, Нижний... Разложили костер, подошли вьючные лошади - поперек крупа болтались фляги с баландой, мешки с хлебом. Пока ели, солнце зашло, но тьма еще не наступила - Павел впервые увидел красоту северной ночи. Той же ночью двинулись дальше. День от ночи отличался лишь тишиной, в которой как бы таилась неведомая угроза.

В местах, где оказался Павел, мыли золото. Горы переработанной земли окружали технические агрегаты, свежей древесиной белели плотничьи сооружения, предназначенные для промывки золота, для подачи воды, их замысловатые названия "промприборы", "сплотки", и другие - Павел запомнил не сразу. Руду добывали в забоях, глубиной не более пяти метров, попадались и мельче. Золотоносный грунт тачками доставляли к месту промывки.

Под утро пришли к прииску Средне-Штурмовой. Зона здесь не охранялась, лишь кое-где виднелась жиденькая колючая проволока.

Новичков выстроили посредине лагеря, как раз у столовой. Вскоре ударили в рельс - этим сигналом поднимали на работу. Павел удивился, не приметив ни одного изможденного лица, и подумал о том, что голод не коснулся этого участка. Дальнейшая жизнь, однако, опровергала наивные представления страдальца.

Соседом по нарам оказался угрюмый уголовник Серега. Из его немногословного рассказа Павел понял, что хоть тут голодных и не бывает, пайки для питания недостаточно. Но в ларьке можно отовариться. А те, кто умудряется выполнить норму на треть больше установленной, получают еще "красную тачку" дополнительную пайку.

Забойщики - люди не бедные, выколачивают приличные суммы, но это лишь в том случае, если найдешь общий язык с бригадиром и десятником. Работали тут по десять часов в сутки, отдыхали по воскресеньям. В этот день можно было побродить по окрестностям или сходить в гости на соседний прииск.

Павел написал письмо матери, сходил в ларек - удачно пристроил оставшиеся деньги, осмотрел лагерь. В день приезда новичков не трогали. Заключение встретили их равнодушно. После работы никто не расспрашивал, по-прежнему обыкновению: кто, за что, откуда? Старожилы сразу занялись своими делами: играть в карты, ссориться, драться. Обычный лагерный уклад. Разнообразило его появление бригады с "красной тачкой" - ворохом продуктов, среди которых голодный глаз Павла усмотрел сгущенку, масло, сахар, мясные консервы. Никто не догадался поделиться пищей с новичками. Чтобы не искушать себя, Павел решил выйти из барака, но показался на глаза бригадиру. Тот поманил его пальцем:

- Значит так, завтра на работу пойдешь вот с ним,- тот же палец ткнул в сторону худосочного зека. - Помни, что питание у нас стахановское, поэтому, чтобы не сдохнуть - жми, не отставай в работе. Полторы нормы дай, как штык, хоть душу из тебя вон! И еще: я записал тебя на спирт, но пить тебе его вредно! Понял?

И довольный своей шуткой, громко захохотал, откинувшись на нары.

Нормы выработки определяли своеобразно: сотский ногою топнул оземь, а рукой махнул в неопределенную даль. Понимай так: от сего места, и хоть до зоны. Павел немножко знал лукавые проделки десятских, знаком был и с маркшейдерскими измерениями и, включившись в вереницу тачечников, все же нет-нет, да и поглядывал на начальную отметку, чтобы не дать провести себя.

Но и сотский оказался не лыком шитый: замерив в конце смены выработку, он небрежно заметил: - Ты даже и норму не выполнил, парень!

Павел не сумел снести наглого обмана и кликнул бригадира. В уме он уже подсчитал примерную выработку и, когда недовольный бригадир подошел разобраться, решил показать, что все "тайны" ему известны:

- Тут почти полторы нормы.

- Эге-е, парень, - сотский метнул на Павла злобный глаз, - ты хоть и много знаешь, да мелко плаваешь. Ну, мы из тебя этот душок тут живо выьем.

Бригадир оказался более рассудительным, по крайней мере, в глазах неопытного Павла. Он успокоил сотского жестом руки:

- Ты, Васек, полегче... Тут мой глаз нужен. Иди пока...

Стоило сотскому скрыться в забое, как бригадир яростно зашипел:

- Ты не прикидывайся премудрым пескарем, враз дух вышибу. Я вот тебе сейчас процентов сорок скину, и ты мне их дотянешь. Не то, кликну солдата, и вместе с доходягами будешь гнить в забое. Пошел!

Делать нечего - приходилось и тут молча снести неправду. Сосед попытался утешить его:

- Брось ты свои законы - тут закон один: тайга и бригадир. Законами движет жизнь, а в жизни - туфта и блат. Приписки и знакомство. Че, не знаешь, что ли? Знал бы, сколько в зоне остается блатных и личных дневальных, картежников и просто филонов. На них же план тоже спускается, вот мы и тянем "стахановские нормы". Ты думаешь, тут в самом деле дают полторы нормы? Да если б так, уже сдохли бы от работы. За все про все тут кубики платят, те самые, что у тебя сегодня сотский отнял. Кубики тут все: деньги, красная тачка, стахановский паек, но главное - за-че-ты! Понял? Их можно только кубиками заработать, иначе - посмотри во-он ту-да...

Павел посмотрел в ту сторону, куда указывал его сосед. По склонам сопки, точно погибающие животные, сонно бродили... нет, Павел даже не назвал бы их людьми: какие-то угасающие тени...

- Эти доходяги когда-то давали по двести процентов... Здоровые мужики были... Горбом тянули кубики... Бригадиру все мало... Срезал пайку, а жрать-то хочется... Сактировали и послали ветки собирать.

Позже стали известны и другие факты обмана: забойщикам начисляли до двух тысяч рублей заработка, на руки же в лучшем случае выдавали четверть этой суммы. Мерзкие дела.

В воскресенье Павел решил поискать в лагере братьев. Подсказали адресок: в водогрейке. Его встретил пожилой арестант с жиденькой бородкой. Поприветствовав его, Павел представился:

- Я со Среднего, только недавно пригнали этапом. Ищу своих. Хоть и не крещен еще, но Господь помиловал меня.

- Очень приятно, брат мой. Гляжу на тебя: такой молодой, а Господь сохранил в твоем сердце упование на Него. Ох, многие тут не выдерживают ни духом, ни телом. Меня зовут Иван Петрович Платонов, из Ленинграда я, ходил в общину, немножко проповедовал, хоть и малограмотный. Дома остались жена и дети. Нас тут четверо, собираемся у меня... Мне ж нельзя отойти: на весь лагерь кипятик грею. Вот тут и молимся, иногда споем, да уж больно ненавидит нас начальство, гоняют, как только за молитвой застанут, в карцер сажают. Уж сколько раз хотели перевести в другое место, да не подберут сюда более добросовестного.

Платонов раскопегарил титан и отвел Павла к братьям. Душа ожила. Перезнакомились, помолились, с особенным чувством спели:

- "Не тоскуй ты, душа дорогая..."

Из братской беседы Павел узнал, что тут недавно обитал и брат Иоганн Галустьянц, часто навещал их, ободрял, делился толкованиями из Откровения. Поведали о тех страхах, которые пришлось им перетерпеть от начальства, уголовников, о том, как самому Иоганну - в лагере он был поваром - пришлось под угрозой ножа проповедовать им Христа Распятого, и как отступились от него бандиты, требующие лишней порции, как провожали его на волю, благодарили за спасительные слова. Недавно освободился и Володя Щичалин ему пришлось усердно потрудиться в проповеди среди братьев и сестер, пока последних не замкнули в женских лагерях. Прощаясь, научили в каких лагерях искать верующих.

Между тем тучи над головой Павла сгущались: по словам сотского, норму он едва вытягивал, соответственно снизилась пайка, пришел голод, силы быстро таяли, труд изнурял все больше. Смертным холодом повеяло и от последнего материнского письма. Судя по почерку, за мать писали. Короткая весточка из дому потрясла:

"Павлик,- сообщалось в письме, - отца взяли, нет от него ни слуху, ни духу. Сама я лежу при смерти, страшно и описать, делали операцию, выкачали гной. Детишки остались одни, бабушка в Починках, что-то не показывается. Федька тоже пропал без вести, жена его умерла, у него дом полон сирот. Молюсь, чтобы Бог возвратил тебя к детям. Оставайся с Господом. Мама".

Голодный, изнемогающий от непомерного труда, Павел почувствовал себя вконец одиноким. Не выдержал однажды, свалился вместе с тачкой. Зверем вскинулся над ним бригадир:

- Что, червяком заползал по земле! У, гад такой! Убирайся из моей бригады, ищи смерти сам, а меня избавь от доходяги!

Пошатываясь, Павел пошел к ручью, умылся. С неба сыпался холодный дождь, промокшая спецовка леденила грудь и спину. Павел оглянулся, ища укрытия. Зеки искали спасения от непогоды под опрокинутыми тачками, иные продолжали месить глину, в которой нет-нет, да и сверкнет крупница драгоценного металла.

"Вот она - цена презренному металлу, - с отвращением подумал Павел. Чего только не делает человек ради золота!"

Налетел сотский, обрушил на вымокших, изнемогших забойщиков град сквернословия. Тачки вновь потянулись на эстакаду. Павел потащился к сотскому с твердым намерением заявить о том, что сил для работы в забое у него попросту не стало. Сотский зарычал:

- Куда ж я тебя дену? За пазуху заткну, что ли... Тут мамочки нет, тут работать надо... А впрочем, подожди... Кажется, нашел тебе то, что нужно. Учти однако: сковырнешься и здесь, погоню палкой до самого изолятора...

Он повел его к канатной дороге.

- Смотри: вагонетки из-под эстакады идут в гору. Видишь муфту? Ее наклепали на трос, чтобы она тащила вагонетку за рожок. Трос полощется от груза, муфта выскакивает из рожков и вагонетка скатывается назад. А ей навстречу прет новая. Р-раз! Удар! Авария! Вот тебе место для дежурства: увидишь сорвавшуюся вагонетку, лови ее на следующую муфту и провожай в гору. Понял?

Павел кивнул. Сначала даже обрадовался новой работе, но скоро догадался: рано или поздно тут можно погибнуть при аварии. Правда, выпадали редкие минуты отдыха, когда трос заедало или останавливали мотор. Но таких минут за смену было немного.

В поисках единомышленников перед Павлом проходила целая вереница самых разных людей: этапом пригоняли артистов и инженеров, встречались директора предприятий и армейские командиры, цвет интеллигенции перемешивался с представителями рабочего класса и крестьянства. Попав в лагерь, несчастные оказывались в отчаянном положении: работа непосильная, пайка хлеба мизерная, а свои вещи давно обменены на продукты: издевательства уголовных доводили нередко до самоубийств. Вдобавок, лагерное начальство не рассчитало запасов, они быстро иссякли, наступил голод. А люди все прибывали, теперь и на них надо было растягивать и без того крошечную пайку. Дошло до того, что стали давать не более двухсот граммов земляного, плохо пропеченного хлеба. Обезумевшие от голода зеки набрасывались на раздатчика, хлеб вырывали буквально из рук. Однажды, на глазах у Павла, раздатчика подстерег заключенный с крайней степенью истощения. Урча, точно дикий зверь, он выхватил хлеб и, давясь, стал запихивать его в рот. На него накинулись, сбили с ног, пытались вырвать хлеб - не тут-то было: катаясь по земле и воя от голода и боли, зек стремительно поглощал краденое. Наконец, вырвали из рук то, что оставалось, но его и хлебом нельзя было назвать, настолько смешалась с землей эта пайка. Даже охранники не стали ее поднимать, а вот зек не побрезговал: мигом он проглотил то, что и хлебом нельзя было назвать.

Зимой морозы достигали семидесяти градусов. Запуржило, застонало ледяными ветрами. Бараки почти не отапливались, заложенные в бочки-печки бревна едва успевали нагревать сами себя, зеки почти наваливались на них, дымилось тряпье, а нары покрывались изморосью. Бывало и так, что пуржило неделями, тогда сгоняли народ для подбора дров с ближайшей сопки. Но и в этом случае повсюду царил неправда и произвол: в первую очередь необходимо было обеспечить дровами пекарню, прачечную, начальство, затем отогреть золотоносные грунты. Обморожения,

ампутация стали обычным явлением.

К середине зимы стали пробиваться грузовики с питанием. К сожалению, для многих эта спасительная жилка оказалась бесполезной: в лагере ежедневно умирало от голода и холода десятки людей. Окоченевших людей находили повсюду: на склонах сопки, в лагере, в забоях, а то и просто на нарах. Один такой отмучился рядом с Павлом.

Упал духом Павел Владыкин. Дыхание смерти вновь сковало душу. Все мысли подчинялись властному требованию тела: хлеба, хлеба, хлеба. Шел в ту пору нашему герою только 24-й год. Но уже молил он:

- Боже мой! Боже мой! Избавь меня от страшных мучений, пошли мне скорую смерть...

Уже не помышляя о достоинстве, тайком пробирался в единственный рубленый барак, где располагались уголовники и где удавалось не только отогреться, но и подобрать выброшенную селедочную головку, наскрести картофельных очисток, собрать из них какое-никакое варево.

Иной раз набирал дров, менял их на хлебушко. В один из таких походов услышал за сугробами знакомую мелодию:

Страшно бушует житейское море,

Сильные волны качают ладью:

В ужасе смертном, в отчаянном горе

Боже мой! Боже! К тебе вопию...

Кто бы это? Обогнув наметанный недавней метелью сугроб, увидел почерневшие от мороза лица.

Люди сидели вокруг костерка и негромко пели:

Сжался над мною, спаси и помилуй.

С первых дней жизни я страшно борюсь,

Больше бороться уж мне не под силу

Боже, помилуй! Тебе я молюсь!

Павел ринулся к поющим. Некоторых он знал - плотника, забойщика... Остальные неизвестны.

Братья смотрели на небо, и казалось - сами Ангелы подпевали им. Казалось, что там, еще выше, у престола Бога и Агнца, внимали пению сонмы святых старцев в белоснежных одеждах, уже прошедшие этот же путь страданий.

Оказалось, верующие проводили тут воскресное собрание. Один из них, в сердечном порыве воскликнул:

- Братья! Может ли быть большее блаженство, чем то, которое мы, приговоренные к смерти, испытываем здесь, в долине скорби и печали! Не к нам ли относятся слова утешения: "Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему". (2 Пар. 16, 9) Это те очи, которые видели умирающего Стефана, апостола Иоанна на острове Патмос, первомученников, терзаемых львами, наших отцов и дедов, умерших под пытками. Это очи Того, Который Ангелу Филадельфийской церкви сказал: "Знаю дела твои... ты не много имеешь силы, и сохранил Слово Мое и не отрекся имени Моего... держи, что имеешь!" (Откр. 3, 8-11) А что же имеем мы, потеряв на земле все? Это показывает нам Господь в эти минуты. Спойте же...

Непобедимое нам дано знамя,

Среди гонений его вознесем.

Бог в нас удел приобрел вечный

И нам победу дарует Христом.

Вслед за Иисусом в бой без смущенья

Радостно с песней пойдём!

Вслед за Иисусом без отступленья

Мы победим со Христом!

После пения братья сердечно обняли друг друга.

А вокруг продолжало твориться ужасное. Покидая место собрания, братья наткнулись на труп известного ленинградского режиссера - как нагнулся он за дровами, так и застыл, измученный. А дальше на санках арестанты волочили еще два трупа. Подле барака плясал изможденный

арестант, потерявший рассудок...

Братья поблагодарили Бога, что Он еще сохранил их. Решили порадоваться трапезой любви. Достали скудные запасы: кто сохранившуюся пайку хлеба, кто селедку, а кто и мучицу, бережно хранимую в тряпице. Смели все в котелок, вскипятили и... съели, как самую богатую пищу.

Павел отошел в сторонку, помолился в уединении.

- Господи, как хорошо у Тебя и с Тобою, хотя уже нету сил, чтобы жить на земле. Не знаю, что ожидает меня впереди, ибо все, что имел - ныне потеряно. Не знаю, что придется еще растерять. Из всей моей жизни остались только это арестантское рубище, которым тела не согреешь, да последний вздох, с которым обращаюсь к Тебе. Сохрани же мне нелицемерную веру до этого самого последнего вздоха, веру в Тебя, веру в Твое милосердие и сострадание, веру в Твою любовь. Аминь!

Все чаще стопорилась работа на канатной дороге. Грунт замерзал, все меньше подавали его на промывку, мороз трещал так, что не выдерживал металл, что тут говорить о человеческих силах. Съемщики золота едва набирали рассыпанные по сукну крупички драгоценного металла, случалось, попадался самородок - специальная охрана зорко следила за подобными операциями, после нее негде было промыть сукно; единственное место, где как-то шевелились зеки - жаровня, на которой прокаливали отмытое золото, освобождая его от влаги. Мешочки с золотом сдавали в кассу управления. Сколько жизней положено в жертву за этот металл?! Сколько пролито крови и сколько еще прольется, пока не доставят его к месту назначения, и сколько судеб продается и будет продано в уплату за золото? Воистину счастлив тот человек и благословенно общество, свободное от золотого тельца!

Рассуждения Павла прервал нарастающий скрежет. Обернувшись, он похолодел от ужаса.

Нагруженная вагонетка сорвалась с муфты и с нарастающей быстротой устремилась вниз, прямо на Павла. Он ухватился за канат, намереваясь поймать вагонетку за следующую муфту, но канат от удара только дернулся... страшный, смертоносный груз с воем и скрежетом катился вниз... жаром обдало лицо Павла, он растерялся, бросился навстречу опасности, пытаясь удержать груженую машину... Павел позабыл, что навстречу поднимается еще одна вагонетка... едва успел отклониться в сторону, как рядом грохнуло, ударило так, что полетели комья мерзлой земли, вагонетка поднялась на дыбы... резкая боль пронзила ногу, и он без чувств рухнул рядом. Первое, что увидел перед собой Павел, когда пришел в себя... нет, не сострадание, не участие прочел он в глазах наклонившихся над ним людей, а полыхавшую ярость, плескавшуюся в глазах у бригадира.

- Очухался, гад! - заорал он. - Ты посмотри, что ты наделал!

Обе вагонетки, разбитые вдреизг, валялись рядом. Между ними скорчившись от боли, распростертый навзничь, лежал Павел. Кто-то из набежавших арестантов испуганно крестился. Кто-то сказал:

- Отмаялся, горемычный!

- Что ты крестишься, - продолжал неистовствовать бригадир, - он еще глазами лупает, а ты отпеваешь. Разойдись по забоям!

Кто-то сдернул с Павла валенок, закрутил штанину вокруг окровавленной ноги. Павел вновь потерял сознание.

Павла отвезли в больничный городок прииска - Нижний Штурмовой. Первое, что он почувствовал, придя в сознание, то, что может шевелить ногой. "Слава Богу, - прошептал он, - не только сам, но, кажется, и нога цела. Остальное Господь усмотрит".

Да, каким-то чудом ногу не раздробило между вагонетками, а только пробило до самой кости. Впервые Павла обмыли, дали чистое белье и уложили в теплой палате на мягкую постель. Павел уснул. Но и во сне, глубоко и крепко, радостные слезы за чудесное спасение и в благодарность Господу продолжали литься из его глаз.

Некоторое время пришлось пользоваться костылями, врачи успокоили его, заверив, что рана чистая и скоро он пойдет на поправку. И точно: не прошло и двух недель, как взамен костыля дали

палку - приучайся, дескать, ходить заново. Однако закон лагеря распространяется и на больничные палаты - вскоре Павла усадили на сани и вернули на прежнее место. Как ни пытался он убедить лекаря, что ходить может только по комнате, да и то с палкой, его и слушать не стали: обозвали филоном и отправили на работы.

Рабочий день удлиненили до 12 часов, пытаясь наверстать упущенное за период снегопадов время. Световой же день почти не прибавился и длился не более трех часов. В довершение к привычным бедам прибавились новые: свирепствовал новый начальник лагеря, по прозвищу Рыжий. Он взял за привычку перед отправкой в забой выступать перед заключенными со злобными речами, а так как делал это в подпитии, то несчастные зеки вынуждены были часами выстаивать на лютом морозе. Тот же, кто попробовал протестовать против подобных измышательства, навсегда исчезал из лагеря. Рыжий запретил разводить костры в забоях, и люди лишились единственной возможности согреться. "Ваше спасение, - цинично заявил Рыжий, - в работе. Работайте до пота". Тянулись из последних сил, пытались даже отрубить себе пальцы, чтобы освободиться от каторги, морозили конечности, но уловки эти помогали слабо: замеченных в членовредительстве кидали в карцер, а затем снова на работы. Крайнее отчаяние овладело людьми, но тут случай поселил в их сердцах надежду...

Как-то Павла зазвали к костерку. Новый сотский рассказал:

- Побежал прямо с развода Рыжий над забоями да над шурфами погонять нашего брата, оскользнулся и - хлоп! - прямо в шурф, а там лом забыли в бурке. Ну и... Метров пять пролетел и напоролся на лом. Вишь, как начальство забегало... А что толку: лом прошел насквозь...

У Павла не возникло чувство злорадности, он лишь с состраданием прошептал, узнав трагическую новость: "Боже, как может быть столь ужасна кончина человека!"

Точно угадывая его мысли, один из заключенных, гревшихся у костра Павел уже видел его на собраниях - вздохнул тяжело:

- На земле все мы были свидетелями его царствия, жаль, не хотел он обрести небесного царствия.

- Ужасна жизнь его, ужасна и кончина, - добавил сотский.

- Ужасна была смерть нашего Спасителя на кресте, ужасна и смерть разбойника, висящего рядом, но он успел получить прощение, покаяться в грехах и обрел мир с Богом. Даже смерть стала для него не ужасом, а приобретением вечного блаженства, по милости Божией...

- Вот подумай теперь: ну как, Пилат избавил бы его, помиловал, снял с креста, как мучили бы его призраки убитых им людей! А проклятия родных и близких? Теперь же всякий, знающий историю о разбойнике, проникается к нему состраданием, многие начинают и себя видеть в нем, ищут мира с Богом.

- Последние минуты не во власти человека, - смиренно заметил Павел. Все во власти Божией. А вы откуда знаете Евангелие?

Сосед, затеявший разговор, потупился.

- Уж не знаю, смею ли я назвать себя братом. За проповедь Слова Божьего дали десять лет. Уже побывал на Беломоро-Балтийском канале, собрался было по зачетам домой, вдруг зачеты сняли, кинули сюда. Уж какой год не получаю вестей от матери, жены, не знаю - живы ли? Сам опустился окончательно от голода и холода, чую - все пропало, вера истаяла, жду смерти от Господа, стыжусь малодушия. Одно только на уме: хлеб да хлеб, и молиться перестал...

Павел слушал исповедь с трепетом: не у самого ли такая же слабость? Голод подтачивает устои веры, как не понять несчастного.

- Бывало и такое, - продолжал колеблющийся, - что даст повар картошки, а ты за пазуху тайком прихватишь. А то... хлеб на бригаду нес, так с каждой пайки крошки обобрал, в котелке сварил... Совесть-то осуждает за это, а голодную утробу не прокормишь, да и в лагере уже стали звать крохобором. А то еще один случай был...

- Ты погодь,- перебил его Павел,- не открывай все, подобное и я пережил. К тому ж я еще не крещеный, так что отвечу так: где те, которые осуждают нас? Пусть встанут рядом. Пусть покажут - как быть? Думаю, и Бог не осудит нас, как не осудил Иова, как не пренебрег блудным сыном. Э-э,

брат: пусть это останется тайной между Богом и тобой, лишь бы не стал на путь сознательного греха. Ты вот чего бойся: оскверненного сердца против Бога, не бери в рот, даже при голоде, оскверненного, непотребного, гнилого... Ибо сердцем твоим овладеет сатана, скверная пища навек сгубит здоровье. Верь Бог нас не оставит, обязательно пошлет облегчение. Мы вылезем из наших могил, и Бог обрадует нас. Будем же верить в это и ждать, пока же мы мертвецы, каждый в своей могиле. Кто может понять нас?

Брат слушал со вниманием. Напоследок дал совет:

- Там, наверху, за забоями проходит дорога на Нижний Штурмовой. Ездят по ней мало, а километрах в четырех столовка есть - для общежития каких-то стахановцев. Повара и дневальные подкидывают нашему брату работенку - дрова поколоть, помыть чего... словом, жалеют нас. Ну, и, конечно, подкармливают кое-чем. Сходи-ка, Бог даст, не пропадешь.

Дело новое - Павел решил не откладывать и в тот же день отправился на разведку. Действительно

- стоит кухня, топчутся люди. Робко приблизился. Тут и повар вышел, посмотрел на Павла, все понял. Отвел в сарай - там уже пилили несколько арестантов. Присоединился и Павел. В награду получили по тарелке густого супа. Павел даже не успел подивиться неожиданной удаче - тарелка вмиг опустела. Повар, только диву дался, но смилостивился еще: дал кусок хлеба и пригласил на следующий день. Глубокой ночью, прижимая ломоть хлеба к груди, возвратился Павел в лагерь.

Правда, еще по дороге решил разделить хлеб на несколько порций, чтобы растянуть удовольствие, но, как ни был наварист суп, как ни показался он ему сытным, голод обуял молодого человека вновь и до своих нар донес лишь половину. Ночью пробудился: снова хотелось есть. Принялся за свой запас. Рядом скрипнули нары - Павел оглянулся: жадными глазами за ним наблюдал сосед. У Павла мелькнула тревожная мысль: "Сейчас наверняка попросит!" Правда, соседа можно было понять и без слов: горящие от голода глаза, слюна, стекающая с края рта, говорили красноречивее любой просьбы. Страшные сомнения охватили душу Павла: один голос настойчиво требовал, чтобы Павел спрятался, съел хлеб сам, другой же слабо протестовал, напоминал христианскую заповедь: "Раздели с голодным хлеб твой". Большим усилием воли Павел подавил первый голос и разломил пополам оставшийся хлеб. Но тут поднялись еще двое и с тем же выражением уставились на тот кусок, который оставался в руке Павла. Хотел выйти, но слабый голос напомнил ему строки из 5 главы Матфея, сорок второго стиха: "Просящему у тебя дай!" Кажется на этот раз помимо своей воли, Павел разломил и то, что оставалось. И успокоился только тогда, когда лег, отвернулся к стене и поразмыслил:

- Зачем это Господь допустил такое искушение? Не иначе, как впереди ожидает меня нечто потрясающее, и Бог, через мои поступки, обеспечивает право на благословение и спасение. Нет, ничего не требует Господь напрасно!

Подработки стали почти ежедневными, Павел почувствовал некоторое облегчение, но мыслишки порою смущали. Идет, к примеру, краюшка хлеба за пазухой, думает: "Ну, вот это я уж точно слопаю самостоятельно! Пускай другие заботятся сами о себе!" А тут с вахты окликнули. Подошел. Обыскали, нашли хлеб, забрали:

- Бегаешь из забоя на Нижний? Подрабатываешь на стороне? А в забое, значит, филонишь! Так не пойдет: давай две нормы, и мы тебя накормим. А сейчас - в карцер!

Бедный юноша не знал, что, допуская в сердце своем греховные заключения, он тем самым навлекает на себя тяжкое испытание. Об этом и пришлось подумать в погребеце, превращенном в карцер.

Суточная норма дров догорала в крохотной печурке. Заключение тесно жались друг к другу; тут собрались вору, филоны и подобные Павлу, искавшие пропитание на стороне. Через пару часов озноб пронзил тело Павла, он задрожал. Спасения не было: печка холодна, стенки карцера все заиндевели. Правда, сжалился какой-то урка, дав хлебнуть кружку кипятка, но время до утра прошло в мучительной дрожи.

Утром погнало в штрафной лагерь "Свистопляс".

Не первый день Владыкин в лагере, но ничего не подозревал об этом таинственном месте. А тут

на тебе: два приличных барака, рубленый сарай и... обязательный карцер в углу зоны. Остальные постройки - за оградой. Население "Свистопляса" состояло из уголовников, совершивших кражи на приисках, и тех, кто отказывался ходить на работу. Тех и других ждал суд, по которому добавляли срок или же приговаривали к смертной казни.

Вместе с другими лагерниками Павла закрыли под замок в карцер. Вскоре выдали штрафную пайку: хлеб и рыбу. Не успел Павел вкусить скудный обед, как вдруг из-под нар выползло существо, отдаленно напоминающее человека: заросшее лицо, лохмотья вместо одежды... Боже! Павел с трудом узнал в нем бывшего подводника, офицера. Безумным взором несчастный оглядел прибывших и без слов протянул руку за подающим. Однако получив кусок хлеба, тут же попросил сменить его на папиросу. Ему кинули окурочек. Безумец заполз под нары.

- Что это? - в ужасе спросил Павел. - Зачем он там?

- Нормы не выполнял... месяцами... а под нарами потому, что ходит под себя...

Владыкин закрыл лицо руками. Ведь он же помнил его цветущим, в морской форме, полного надежд на освобождение и твердо верящего в собственную невинность, думал - вот докажет ее и отомстит злодеям. Теперь же перед ним был уже не человек... Такой глубины падения Павел еще не видывал.

Погнали на работу. Все та же тачка, все тот же мерзлый грунт. На удивление, тут никто не орал на заключенных и даже уголовники вели себя тише воды, ниже травы. Тотчас же объяснили и новые законы:

- Ты тут особенно не надрывайся, - остановил его урка, тут твои подвиги не нужны, тут все до суда вкальвают. Иди, погрейся и запомни: пока будешь ходить на работу, пайка обеспечена.

В обед прохрипел гудок. Покормили прилично: хлеб, густая баланда. То же самое повторилось и вечером. А ночью из-под нар вытащили безжизненное тело бывшего подводника. В руках он держал раскрошившуюся пайку хлеба. В уголке рта запеклась пена. Единственное, что как-то напоминало о прежней жизни блестящего морского офицера - клочок тельняшки, покрывавшей исхудавшую грудь.

Сидение в карцере кончилось, Павла перевели в барак, теплый, просторный, с одинарными нарами. Представление о "Свистоплясе" у Павла стало меняться в лучшую сторону. "Чем же он так ужасен?" - недоумевал он. И вскоре получил ответ.

Перед отбоем Павел вышел на крыльцо перед бараком. Яркие звезды устлали небосклон.

Благодатная тишина окутала лагерь. Даже отдаленный звук работающего трактора не тревожил уединенное место. На крыльцо вышел покурить тот самый урка, который его "учил жить".

- Слышишь? - спросил он. Павел прислушался:

- А что слышать?

И тут же к шуму трактора примешался какой-то сухой треск: вроде дерево обломили. Звуки доносились со стороны трактора.

- Кто-то душу Богу отдал, - хмуро заметил урка. И, поглядев на недоумевающее лицо Павла, добавил: - Нашего брата расстреливают.

Владыкин отшатнулся: на лице его собеседника появилась странная улыбка. Он пояснил, что трактор запускают под расстрелы, трупы спускают в шурфы, и все шито-крыто. Теперь Павел догадался, почему бесследно исчезают обитатели бараков. Здесь оказались врата смерти.

Павел сотворил молитву. В ней он просил Бога приготовить его к дальнейшим испытаниям, дать ему силы снести все безропотно и не погибнуть духовно.

В феврале на "Свистопляс" прибыло начальство. На работу не выгнали. Зачитали описки тех, кто подлежит возврату в прежний лагерь. В их числе оказался и Владыкин. Предвкушая радостную встречу с братом Платоновым, Павел переступил лагерную границу. У входа в кубогрейку, теребя свою рыжую бородку, его с улыбкой встретил брат.

- Ах, Павлушка! - только и выговорил он, увидев юного страдальца.

Николай Петрович Храпов написал книгу о своей судьбе. За свои религиозные убеждения он

провел в заключении в общей сложности 32 года и умер накануне перестройки в ташкентской тюрьме.